

МЕМОАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН



**БИОГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ.
ВОСПОМИНАНИЯ**

DirectMEDIA

И. А. Бунин

**Биографические
материалы.
Воспоминания**



**Москва-Берлин
2017**

УДК 82
ББК 83.3(2)6
Б91

Бунин, И. А.

Б91 Биографические материалы. Воспоминания /
И. А. Бунин. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. –
201 с.

ISBN 978-5-4475-9010-9

В сборник вошли автобиографические заметки, дневники, записные книжки и воспоминания известного русского писателя и поэта Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953 гг.). Также в книгу включены отрывки из книги Бунина «Воспоминания», в которых он рассказывает о ярких, незабываемых встречах с известными людьми мира искусства: композитором С. Рахманиновым, певцом Ф. Шаляпиным, художником И. Репиным, писателями Дж. Джеромом, А. Н. Толстым и др.

УДК 82
ББК 83.3(2)6

ISBN 978-5-4475-9010-9

© Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2017

Автобиографические заметки, дневники, записные книжки, воспоминания

Автобиографическая заметка

Просьбу дать для «Русской литературы XX века сведения о моей жизни и литературной деятельности могу в настоящее время исполнить только частично – кратко сообщить только кое-что.

Я родился 10 октября 1870 года. Отца моего звали Алексеем Николаевичем, мать – Людмилой Александровной (в девичестве Чубаровой).

О роде Буниных я кое-что знаю. Род этот дал замечательную женщину прошлого века, поэтессу А. П. Бунину, и поэта В. А. Жуковского (незаконного сына А. И. Бунина); в некотором родстве мы с бр<атьями> Киреевскими, Гротами, Юшковыми, Воейковыми, Булгаковыми, Соймоновыми; о начале нашем в «Гербовнике дворянских родов» сказано, между прочим, следующее: «Род Буниных происходит от Симеона Бунковского, мужа знатного, выехавшего в XV в. из Польши в великому князю Василию Васильевичу. Правнук его Алеснадр Лаврентьев сын Бунин служил по Владимиру и убит под Казанью. Стольник Козьма Леонтьев Бунин жалован за службу и храбрость на поместья грамотой. Равным образом и другие многие Бунины служили воеводами и в иных чинах и владели деревнями. Все сие доказывается бумагами Воронежского дворянского депутатского собрания о внесении рода Буниных в родословную книгу в VI часть, в число древнего дворянства...»

Род (тоже древнедворянский) Чубаровых мне почти неведом. Знаю только, что Чубаровы – дворяне Костромской, Московской, Орловской и Тамбовской губерний и что были у деда и у отца матери имения в Орловском и Трубчевском уездах. Да и сами Чубаровы знали о себе, вероятно, не больше: с полным пренебрежением к сохранению свидетельств о родовых связях жили наши дворяне. Я же чуть не с отрочества был «вольнодумец», вполне равнодушный не только к своей голубой крови, но и к полной утрате всего того, что было связано с нею:

исключительно поэтическими были мои юношеские, да и позднейшие «дворянские элегии», которых, кстати сказать, у меня гораздо меньше, чем видели некоторые мои критики, часто находившие черты личной жизни и личных чувств даже в тех моих писаниях, где почти и следа нет их, и вообще многое навязавшие мне.

Прадед мой по отцу был богат. У деда была земля в Орловской губернии (в Елецком уезде), в Тамбовской и Воронежской, но, кажется, понемногу. Деда братья его обделили. Он был не совсем нормальный, «тронувшийся» человек. Наследство осталось от него не бог весть какое, отец же и того не пощадил. Беспечен и расточителен он был необыкновенно. А Крымская кампания, в которой он участвовал «охотником», как тогда выражались, и переезд в семидесятом году в Воронеж для воспитания детей, моих старших братьев Юлия и Евгения, способствовали нашему разорению особенно. В Воронеже-то и родился я. Там прошли первые три года моей жизни. (Очень слабо, но все-таки помню кое-что из того времени.) Но расти в городе мне не пришлось. Страсть к клубу, к вину и картам заставила отца через три с половиной года возвратиться в Елецкий уезд, где он поселился на своем хуторе Бутырки. Тут, в глубочайшей поле типшине, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло все детство, полное поэзии печальной и своеобразной.

Отец, человек необыкновенно сильный и здоровый физически, был до самого конца своей долгой жизни и духом почти столь же здоров и бодр. Уныние овладело им в самых тяжелых положениях на минуту, гнев — был очень вспыльчив — и того меньше. До тридцати лет, до похода в Крым, он не знал вкуса вина. Затем стал пить и пил временами ужасно, хотя не имел, кажется, ни одной типической черты алкоголика, совсем не пил иногда по несколько лет (я рожден как раз в один из таких светлых промежутков) и не соединял с этой страстью никаких других дурных страстей. Учился он недолго (в Орловской гимназии), ученья терпеть не мог, но читал все, что попадало под руку, с большой охотой. Ум его, живой и образный, — он и

говорил всегда удивительно энергическим и картинным языком, – не переносил логики, характер – порывистый, решительный, открытый и великодушный – преград. Все его существо было столь естественно и наивно пропитано ощущением своего барского происхождения, что я не представляю себе круга, в котором он смутился бы. Но даже его крепостные говорили, что «во всем свете нет проще и добрей» его. То, что было у матери, он тоже прожил, частью даже раздарил, ибо у него была какая-то неутолимая жажда раздавать. Постоянная охота, постоянная жизнь на воздухе много помогли тому, что этот хороший, интересный и по натуре даровитый человек умер восьмидесяти лет легко и спокойно.

Мать ни в чем не походила на него, кроме разве доброты и здоровья, в силу которого она прожила тоже долго, несмотря на все горести своей жизни, на астму, изнурявшую ее в течение последних двадцати лет, и на тяжкий пост, который она, по своей горячей религиозности, возложила на себя и с редкой стойкостью переносила лет двадцать пять, вплоть до самой кончины. Отец ее тоже шил, но по-иному, культурнее, если можно так выразиться; послужив в военной службе, побывав за границей, пожив в Варшаве, он вообще выделялся среди помещиков, и воспитана была Людмила Александровна тоньше, чем Алексей Николаевич. Характер у нее был нежный, – что не исключало большой твердости при некоторых обстоятельствах, – самоотверженный, склонный к грустным предчувствиям, к слезам и печали. Преданность ее семье, детям, которых у нее было девять человек и из которых она пятерых потеряла, была изумительна, разлука с ними – невыносима. В пору же моего детства старшие мои братья были вдали от нее, отец все отлучался в тамбовское имение, пропадал на охоте, жил не по средствам, и, значит, немало было и существенных поводов для ее слез.

Неизменная бодрость отца и вообще некоторые его черты стали действовать на меня, в противовес ее влиянию, и сказываться во мне наследственно лишь позднее. Редко, повторяю, и бывал он с нами. А «дворня» наша невелика была, с соседями и родственниками мы в ту пору виделись мало, сверстников я не

имел, – сестра Маша была еще совсем ребенок, – игрушек, развлечений и склонности к ним – тоже, впечатлителен был чрезвычайно. Все, помню, действовало на меня – новое лицо, какое-нибудь событие, песня в поле, рассказ странника, таинственные лощины за хутором, легенда о каком-то беглом солдате, едва живом от страха и голода и скрывавшемся в наших хлебах, ворон, все прилетавший к нам на ограду и поразивший мое воображение особенно тем, что жил он, как сказала мне мать, еще, может, при Иване Грозном, предвечернее солнце в тех комнатах, что глядели за вишневым садом на запад... Мать и дворовые любили рассказывать, – от них я много наслушался и песен, и рассказов, слышал, между прочим, «Аленький цветочек», «О трех старцах», – то, что потом читал. Им же я обязан и первыми познаниями в языке, – нашем богатейшем языке, в котором, благодаря географическим и историческим условиям, слилось и претворилось столько наречий и говоров чуть не со всех концов Руси.

Лет с семи началась для меня жизнь, тесно связанная в моих воспоминаниях с полем, с мужицкими избами, а потом и с ними и с моим воспитателем. Чуть не все свободное от учения время я, вплоть до поступления в гимназию, да и приезжая из гимназии на каникулы, провел в ближайших от Бутырок деревушках, у наших бывших крепостных и у однодворцев. Явились друзья, и порой я по целым дням стерег с ними в поле скотину... А воспитателем моим был престранный человек – сын предводителя дворянства, учившийся в Лазаревском институте восточных языков, одно время бывший преподавателем в Осташкове, Тамбове и Кирсанове, но затем спившийся, порвавший все связи родственные и общественные и превратившийся в скитальца по деревням и усадьбам. Он неожиданно привязался ко всем нам, а ко мне особенно, и этой привязанностью и своими бесконечными рассказами, – он немало нагляделся, бродя по свету, и был довольно начитан, владея тремя языками, – вызвал и во мне горячую любовь к себе. Он мгновенно выучил меня читать (по «Одиссее» Гомера), распалял мое воображение, рассказывая то о медвежьих осташковских лесах, то о Дон-Кихоте, – и я по-

ложительно бредил рыцарством! – поминутно будил мою мысль своими оригинальными, порой даже не совсем понятными мне разговорами о жизни, о людях. Он играл на скрипке, рисовал акварелью, а с ним вместе иногда по целым дням не разгибался и я, до тошноты насыщаясь с кисточки водой, смешанной с красками, и на всю жизнь запомнил то несказанное счастье, которое принес мне первый коробок этих красок: на мечте стать художником, на разглядывании неба, земли, освещения у меня было довольно долгое помешательство. Он писал стихи, – сатирические вирши на злобы дня, – и вот написал стихотворение и я, но совсем не злободневное, а о каких-то духах в горной долине, в лунную полночь. Мне было тогда лет восемь, но я до сих пор так ясно помню рту долину, точно вчера видел ее наяву. Вообще я много представлял себе тогда чрезвычайно живо и точно.

Учил меня мой воспитатель, однако, очень плохо, чему попало и как попало. Из языков он больше всего налегал почему-то на латынь, и немало тяжких дней провел я в зубрежке латинской грамматики.

Года за два до поступления в гимназию (поступил я туда на одиннадцатом году) я испытал еще одну страсть – к житиям святых, и начал поститься, молиться... Страсть эта, вначале сладостная, превратилась затем, благодаря смерти моей маленькой сестры Нади, в мучительную, в тоску, длившуюся целую зиму, в постоянную мысль о том, что за гробом. Излечила меня, помню, весна. Отзвуком этого осталось то упоение, с каким отдавался я иногда печали всеобщих бдений в елецких церквах, куда водило нас, гимназистов, наше начальство, хотя вообще церковных служб я не любил. (Теперь люблю – в древних русских церквах и иноверческие, то есть католические, мусульманские, буддийские, – хотя никакой ортодоксальной веры не держусь.)

Гимназия и жизнь в Ельце оставили мне впечатления далеко не радостные, – известно, что такое русская, да еще уездная гимназия, и что такое уездный русский город! Резок был и переход от совершенно свободной жизни, от забот матери к

жизни в городе, к нелепым строгостям в гимназии и к тяжкому быту тех мещанских и купеческих домов, где мне пришлось жить нахлебником. Учился я сперва хорошо, воспринимал почти все легко, потом хуже: новая жизнь сделала то, что я стал хворать, таять, стал чрезмерно нервен, да еще на беду влюбился, а влюбленность моя в ту пору, как, впрочем, и позднее, в молодости, была хотя и чужда нечистых помыслов, но восторженна. Дело кончилось тем, что я вышел из гимназии.

Читал я в детстве мало и не скажу, чтобы уж так жаждал книг, но, вероятно, прочитал почти все, что было у нас в доме и что еще не пошло на сигарки тем приживальщикам, прежним слугам-друзьям отца, что иногда гостили у нас, и до сих пор еще помню, как читал я «Английских поэтов» Гербеля, «Робинзона», затасканный том «Живописного обозрения», кажется, за 1878 год, чью-то книгу с картинками под заглавием «Земля и люди»... Суть того чувства, что вызывали во мне эти книги, и до сих пор жива во мне, но ее трудно выразить. Главное заключалось в том, что я *видел* то, что читал, – впоследствии даже слишком остро, – и это давало какое-то особое наслаждение.

В гимназии много из того, что обычно читается в такие годы, мне совсем не нравилось. (Из того, что произвело на меня в первые гимназические годы особенно поэтическое и восторженное впечатление, вспоминается сейчас «Колокол» Андерсена). И стихов в гимназии я почти не писал, хотя до чужих был жаден и отличался способностью запоминать наизусть чуть не целую страницу даже гекзаметра, только раз пробежав ее. (Память у меня вообще хорошая, – то, что интересуется, запоминаю крепко, – но насилия не терпит: убедился в этом еще в ранней молодости, когда, по гоголевской манере, пытался упражняться в наблюдательности.)

Зато необыкновенно много исписал я бумаги и прочел за те четыре года, что прожил после гимназии в елецкой деревне Озерках, в имении, перешедшем к нам от умершей бабки Чубаровой. Дома я снова быстро окреп, сразу возмужал, развился, исполнился радостного ощущения все растущей молодости и сил. Тут как раз на целых три года выслали к нам брата Юлия,

уже кончившего университет и пробывшего год в тюрьме по политическим делам, и он прошел со мной весь гимназический курс, занимался со мной языками, читал мне начатки психологии, философии, общественных и естественных наук; кроме того, мы без конца вели с ним разговоры о литературе. И помню, что в ту пору мне все казалось очаровательно: и люди, и природа, и старинный с цветными окнами дом бабки, и соседние усадьбы, и охота, и книги, один вид которых давал мне почти физическое наслаждение, и каждый цвет, каждый запах...

Писал я в отрочестве сперва легко, так как подражал то одному, то другому, – больше всего Лермонтову, отчасти Пушкину, которому подражал даже в почерке, потом, в силу потребности высказать уже кое-что свое, – чаще всего любовное, – труднее. Читал я тогда что попало: и старые и новые журналы, и Лермонтова, и Жуковского, и Шиллера, и Веневитинова, и Тургенева, и Маколея, и Шекспира, и Белинского... Потом пришла настоящая любовь к Пушкину, но наряду с этим увлечение, хотя и недолгое, Надсоном, чему, впрочем, много способствовала его смерть. Вообще о писателях я с детства, да и впоследствии довольно долго, мыслил как о существах высшего порядка. (Помню, как поразил меня рассказ моего воспитателя о Гоголе, – он однажды видел его, – вскоре после того, как я впервые прочел «Страшную месть», самый ритм которой всегда волновал меня необыкновенно.) Самому мне, кажется, и в голову не приходило быть меньше Пушкина, Лермонтова, – благо лермонтовское Кропотово было в двадцати пяти верстах от нас, да и вообще чуть не все большие писатели родились поблизости, – и не от самомнения, а просто в силу какого-то ощущения, что иначе и быть не может. Но это не исключало страстного интереса вообще к писателям, даже к таким, каким был, например, некто Назаров. Озерский кабатчик как-то сказал мне, что в Ельце появился «автор». И я тотчас же поехал в Елец и с восторгом познакомился в базарном трактире с этим Назаровым, самоучкой-стихотворцем из мещан. Из новых писателей мне очень нравился тогда Гаршин (самоубийство которого ужасно поразило меня). Нравился и Эртель, хотя я и тогда чувствовал

его литературность, непростоту, копировку Тургенева, даже эту неприятную изысканность знаков препинания, обилие многоточий. В Чехове (его юмористических рассказов я тогда не знал) тоже кое-что задевало меня – то, что он писал бегло, жидко...

В апреле 1887 года я отправил в петербургский еженедельный журнал «Родина» стихотворение, которое и появилось в одном из майских номеров. Утра, когда я шел с этим номером с почты в Озерки, рвал по лесам росистые ландыши и поминутно перечитывал свое произведение, никогда не забуду. Писал и читал я в то лето особенно много, а чтобы ничто не мешало мне в этом и с целью «наблюдения таинственной ночной жизни», месяца на два прекратил ночной сон, спал только днем.

В сентябре 1888 года мои стихи появились в «Книжках Недели» (издаваемой П. А. Гайдебуровым), где часто печатались вещи Щедрина, Глеба Успенского, Л. Толстого, Полонского. Гайдебуров отнесся ко мне крайне внимательно и запретил сотрудничать в других изданиях, – взял меня под свое исключительное руководство.

Между тем благосостояние наше, по милости отца, снова ухудшилось. Брат Юлий переселился в Харьков. Весной 1889 года отправился и я туда и попал в кружки самых завязтых «радикалов», как выражались тогда, а пожив в Харькове, побывав в Крыму, о котором у меня еще в детстве составилось самое поэтическое представление, благодаря рассказам отца, и нашел, что ходить верст по сорок в сутки, загорать от солнца и от морского ветра и быть очень легким от голода и молодости – превосходно. С осени стал работать при «Орловском вестнике», то бросая работу и уезжая в Озерки или Харьков, то опять возвращаясь к ней, и был всем, чем придется, – и корректором, и передовиком, и театральным критиком, что, к счастью, совсем не приставало ко мне. Тут опять сразила меня, к великому моему несчастью, долгая любовь.

К более нормальной жизни, к более правильной работе литературной и образовательной я возвратился только через два года, переселившись в Полтаву, где брат Юлий заведовал ста-

тистическим бюро губернского земства. В Полтаве я был библиотекарем земской управы, затем тоже статистиком, много корреспондировал в газеты о земских делах; усердно учился, писал, ездил и ходил по Малороссии, — служба у меня была легкая и свободная, — затем, увлеченный толстовской проповедью, стал навещать «братьев», живших под Полтавой и в Сумском уезде, прилаживаться к бондарному ремеслу, торговать изданиями «Посредника». Но сам же Толстой, к которому я ездил с А. А. Волкенштейном, и созерцание которого произвело на меня истинно потрясающее впечатление, и отклонил меня опрощаться до конца. (Как к художнику я относился к нему и тогда уже с не меньшим восторгом. Но к этому же времени относится и мое увлечение Флобером, а наряду с этим — «Словом о полку Игореве», малорусскими «думами», — теми, что наиболее величавы и торжественны, — некоторыми вещами Мицкевича, особенно его крымскими сонетами, балладами, страницами из «Пана Тадеуша»: ради Мицкевича я даже учился по-польски.)

За работой при «Орловском вестнике» я писал урывками, печатаясь в «Северном вестнике», «Наблюдателе» и иллюстрированных журналах, и издал первую книжку стихов, чисто юношеских, не в меру интимных. Первая рецензия на нее появилась в «Артисте» и заключала в себе странный упрек в подражании Фету и совет заняться лучше прозой. Остальные отзывы были весьма сочувственны. В Полтаве я впервые приступил более или менее серьезно к беллетристике, и первый же рассказ (без заглавия) послал в «Русское богатство», руководимое тогда Кривенко и Михайловским. Михайловский написал, что из меня выйдет «большой писатель», и рассказ, под чьим-то заглавием — «Деревенский эскиз», — был напечатан в апреле 1894 года. В то же время редкое участие принял во мне А. М. Жемчужников, вступивший со мной в переписку и проводивший меня в «Вестник Европы»: сам Стасюлевич был чересчур строг и порой несправедлив. (Вот пустяк, но характерный. Было у меня в стихотворении: «Ржи наливают и цветут». Стасюлевич изумился: «Кого наливают?» — и написал «наливаются». Жемчужников горячо вступился за меня.)

В январе 1895 года, бросив службу, я впервые попал в Петербург, видел некоторых писателей, Михайловского, Кривенко, который отнесся ко мне с истинно-отеческой нежностью. В этом же году я познакомился в Москве с Чеховым, с Бальмонтом, с Эртелем, с Брюсовым, тогда еще студентом. Позднее я мельком видал Коневского и Добролюбова. Они произвели на меня впечатление больных мальчиков с полным сумбуром в голове и в душе, благодаря и болезненности своей, и кое-чему прочитанному. Видал я и некоего поэта, славившегося тогда по Москве своей книжкой, посвященной «самому себе и египетской царице Клеопатре», и тем, что он ходил, как говорили, в папахе, в бурке, в нижнем белье, привязывал себе к пальцам ногти и производил перевороты в стихотворной форме. Он, впрочем, раньше других бросил все эти «дерзания» и «переоценки ценностей» и, увы, не попал в историю «новой русской литературы», хотя именно ему долго приписывали многие все эти «закрой свои бледные ноги» и т. п.

В октябре 1895 года в «Новом слове», которое редактировал Кривенко, разошедшийся с «Русским богатством», а издавала О. Н. Попова, появился мой рассказ «На край света», встреченный очень хорошо (особенно Скабичевским, слову которого придавали тогда большой вес). Следующей осенью я с удовольствием согласился на предложение Поповой издать свои рассказы. Вышли они в свет (в январе 1897 г.) среди почти единодушных похвал. Но тут я внезапно надолго исчез из Петербурга, да не только исчез, а и замолчал на несколько лет. Два года затем я жил особенно скитальчески и разнообразно, — то в Орловской губернии, то в Малороссии, снова был в Крыму, бывал в Москве, все чаще встречался и со старыми и с молодыми писателями, посещал «Посредник», куда заезживал Толстой... Сам чувствуя свой рост и в силу многих душевных переломов, уничтожал я тогда то немногое, что писал прозой, беспощадно; из стихов кое-что (то, что было менее интимно, преимущественно картины природы) печатал; довольно много переводил — чужое было легче передавать.

С этой поры собственно и начинается моя более или менее зрелая жизнь, сложная и внутренне и внешне и столь еще близкая мне, что говорить о ней подробно – задача долгая и трудная. Поэтому кончу эти беглые заметки еще более бегло.

В 1898 году я женился на А. Н. Цакни, гречанке, дочери известного революционера и эмигранта Н. П. Цакни. Женясь, года полтора прожил в Одессе (где сблизился с кружком южно-русских художников). Затем разошелся с женой и установил в своих скитаниях, уже не мешавших мне работать в известной мере правильно, некоторый порядок: зимой столицы и деревня, иногда поездка за границу, весной юг России, летом преимущественно деревня. За это время я был, между прочим, ближайшим участником известного литературного кружка «Среда», душой которого был Н. Д. Телешов, а постоянными посетителями – Горький, Андреев, Куприн и т.д. Революция, прокатившаяся над всеми нами, надолго рассеяла этот кружок. С 1907 года жизнь со мной делит В. Н. Муромцева. С этих пор жажда странствовать и работать овладела мною с особенной силой. За последние восемь лет я написал две трети всего изданного мною. Видел же за эти годы особенно много. Неизменно проводя лето в деревне, мы почти все остальное время отдали чужим краям. Я не раз бывал в Турции, по берегам Малой Азии, в Греции, в Египте вплоть до Нубии, странствовал по Сирии, Палестине, был в Ороне, Алжире, Константине, Тунисе и на окраинах Сахары, плывал на Цейлон, изъездил почти всю Европу, особенно Сицилию и Италию (где три последних зимы мы провели на Капри), был в некоторых городах Румынии, Сербии – и, говоря словами Боратынского, отовсюду – «к вам приходил, родные степи, моя начальная любовь» – и снова «по свету бродил и наблюдал людское племя...».

Что же до литературной моей деятельности за эти годы, то ход и развитие ее известны. В конце 1898 года вышел мой перевод «Песни о Гайавате», давший повод некоторым моим критикам, при их обычной поспешности суждений и любви (или необходимости), повторять друг друга, записать меня в число идилликов и каких-то «созерцателей». В 1900 году издал первую

книгу моих стихов «Скорпион», с которым я, однако, очень скоро разошелся, не возымев никакой охоты играть с моими новыми сотоварищами в аргонавтов, в демонов, в магов и нести высокопарный вздор, хотя некоторые критики уже заговорили было о моем «увлечении декадентами» и усердно цитировали мой сонет «В Альпах», мысль которого, в сущности, была совсем не нова, – подобна мысли того самого сонета Пушкина, где сказано: «услышишь суд глупца», – меж тем как другие одобряли меня за то, что я держусь каких-то «заветов», «традиций», хотя любить талант, самостоятельность, ум, вкус вовсе не значит держаться каких-то традиций. В 1902 году «Знание», ближайшим сотрудником которого я был после этого почти все время его деятельного существования, издало первый том моих сочинений. Какие книги следовали за этими тремя, говорить нет нужды. Известно также, что от Академии наук я получал Пушкинские премии, что в 1909 году я был избран ею в число почетных академиков, в 1912 году – почетным членом Общества любителей российской словесности, коего я состою теперь временным председателем, и т.д. Добавлю еще, что в текущем году книгоиздательство Маркса выпускает приложением к «Ниве» редактированное мною собрание моих сочинений, куда входит *vis*, что я считаю более или менее достойным печати.

В общем, жизненный путь мой был довольно необычен, и о нем и вообще обо мне долго существовало довольно превратное представление. Взять хотя бы первое десятилетие моей литературной деятельности: большинство тех, что писали о моих первых книгах, не только спешили уложить меня на какую-нибудь полочку, не только старались раз навсегда установить размеры моего дарования, не замечая, что им же самим уже приходилось менять свои приговоры, но характеризовали и мою натуру. И выходило так, что нет писателя более тишайшего («певец осени, грусти, дворянских гнезд» и т. п.) и человека, более определившегося и умиротворенного, чем я. А между тем человек-то был я как раз не тишайший и очень далекий от какой бы то ни было определенности: напротив, во мне было самое резкое смешение и печали, и радости, и личных чувств, и

страстного интереса к жизни, и вообще стократ сложнее и острее жил я, чем это выразилось в том немногом, что я печатал тогда. Бросив через некоторое время прежние клички, некоторые из писавших обо мне обратились, как я уже говорил, к диаметрально противоположным – сперва «декадент», потом «парнасец», «холодный мастер», – в то время как прочие вес еще твердили: «певец осени, изящное дарование, прекрасный русский язык, любовь к природе, любовь к человеку... есть что-то тургеневское, есть что-то чеховское» (хотя решительно ничего чеховского у меня никогда не было). Впрочем, в литературе стоял тогда невероятный шум.

А второе десятилетие моей литературной деятельности еще у всех в памяти. Тут отношение ко мне, как известно, изменилось, во внимании ко мне за это время недостатка не было. Отмечу только один факт, уже не раз, к сожалению, повторявшийся в русской литературе, – то, как некоторые отнеслись к моей «Деревне», к «Ночному разговору», к «Суходолу». На первых порах чего только, наряду с похвалами моему художеству, не наслушался я! Иные унижались даже до того, что говорили, что я был просто испуган революцией, как помещик (каковым на самом деле я отроду не был), корили меня моим происхождением, – точно я был первый и единственный «дворянин» в русской литературе, – уверяли, что я для деревни только «пришлый интеллигент», приплетали нектати мои «поездки в Индию», хотя поездки эти могли принести мне, конечно, только пользу, ибо справедливо сказал Шекспир, что «недалеко ушла от глупости домоседная мудрость». По шаблону, в угоду традициям и благодаря круглому незнанию жизни, некоторые неизменно прибавляли, говоря о моих произведениях, касавшихся русского народа: «А все-таки это не так», – и, никогда не приводя никаких доказательств, отделялись фразами о «искрах божьих», «отрадными» частностями, ссылками на Достоевского, Тютчева или Глеба Успенского и Чехова, хотя этих «искр» я никогда не отрицал, хотя не о частностях, а об общем, типическом говорил я, хотя Достоевский и Тютчев для меня ничуть не обязательны, хотя Успенского тоже упрекали в «хмуром и желчном

пессимизме» и «полном незнании народа», хотя, укоряя меня Чеховым, почти слово в слово повторяли то самое, что говорили Чехову, укоряя его предшественниками его. Все это, конечно, в порядке вещей. Судьба «Горя от ума» всем известна. О «Мертвых душах» и о «Ревизоре» в один голос кричали: «Это клевета, это невозможность». Гончарову, по свидетельству А. Ф. Кони, «пришлось выслушать, что он совершенно не понимает и не знает русского народа». «Преступление и наказание» Достоевского называли (и не где-нибудь, а в «Современнике») «клеветой на молодое поколение», «дребеденью», «позорным измышлением», «произведением самым жалким»... А ведь теперь дела стали еще хуже: литература наша изовралась невероятно, критика пала донельзя, провал между народом и городом образовался огромный, о дворянах теперешний городской интеллигент знает уже только по книжкам, о мужиках – по извозчикам и дворникам, о солдатах – только одно: «так что, ваше благородие», говорить с народом он не умеет, изобразители сусальной Руси, сидя за старыми книжками и сочиняя какой-то никогда не бывалый, утрированно-русский и потому необыкновенно противный и неудобочитаемый язык, врут ему не судом, вкусы его все понижаются... Но все же не раз думал я: доколе же так вот и будет писаться история? Не ужасно ли, что, покричав: «Это клевета, это невозможность», – мы всегда тем скорее успокаивались, что не проходило и нескольких лет, как то, что называлось «невозможностью», признавалось «классическим» и поступало уже в полное ведение учителей словесности?

За всем тем на критику серьезную жаловаться я и тогда не мог.

Москва, 10.IV.15

Из предисловия к французскому изданию «Господина из Сан-Франциско»

Я происхожу из старого дворянского рода, давшего России немало видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальмы.

Все предки мои всегда были связаны с народом и с землей, были помещиками. Помещиками были и деды и отцы мои, владевшие имениями в средней России, в том плодородном подстепье, где древние московские цари, с целями защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, где, благодаря этому, образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым.

Я родился 10 октября 1870 года, в городе Воронеже. Детство и юность почти целиком провел в деревне. Писать начал рано. Рано появился и в печати.

Критика обратила на меня внимание довольно скоро. Затем мои книги не раз были отмечены высшей наградой Российской Академии наук – премией имени Пушкина. В 1909 году эта Академия избрала меня в число двенадцати почетных Академиков.

Однако известности более или менее широкой я не имел долго: я несколько лет, после появления в печати моих первых рассказов, не писал и не печатал ничего, кроме стихов; я не касался в своих произведениях политической и общественной злободневности; я не принадлежал ни к одной литературной школе, не называл себя ни декадентом, ни символистом, ни романтиком, ни реалистом; а меж тем судьба русского писателя за последние десятилетия часто зависела от того, находится ли он в борьбе с существующим государственным строем, вышел ли он из «народа», был ли он в тюрьме, в ссылке, или же от его участия в той «литературной революции», которая, – в большой мере из-за подражания Западной Европе, – столь шумно

продельвалась в эти годы среди быстро развивавшейся в России городской жизни, ее новых критиков и новых читателей из молодой буржуазии и молодого пролетариата. Кроме того, я мало вращался в литературной среде. Я много жил в деревне, много путешествовал по России и за границей: в Италии, в Турции, на Балканах, в Греции, в Палестине, в Египте, в Алжире, в Тунисии, в тропиках. Я, как сказал Саади, «стремился обозреть лицо мира и оставить в нем чекан души своей», меня занимали вопросы психологические, религиозные, исторические.

Двенадцать лет тому назад я напечатал «Деревню». Это было начало целого ряда произведений, резко рисовавших русскую душу, ее своеобразные сплетения, ее светлые и темные, но почти всегда трагические основы. В русской критике и в среде русской интеллигенции, где, в силу многих своеобразных условий, а за последнее время и просто в силу незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти «беспощадные» произведения вызвали очень страстные отклики и в конечном итоге принесли мне то, что называется успехом, который еще более укрепили мои последующие работы.

В эти годы, я чувствовал, как с каждым днем все более крепнет моя рука, как горячо и уверенно требуют исхода накопившиеся во мне силы. Но тут разразилась война, а затем русская революция. <...>

Я покинул Москву в мае 1918 года, жил на юге России, переходившем из рук в руки «белых» и «красных», а в феврале 1920 года, испив чашу несказанных душевных страданий, эмигрировал за границу, – сперва на Балканы, потом во Францию.

Париж, 1921

P.S. Во Франции я жил первое время в Париже, с лета 1923 года переселился в Приморские Альпы, возвращаясь в Париж только на некоторые зимние месяцы.

В эмиграции мною написано шесть новых книг.

Париж, 1934

Из записей

Рассказ моего гувернера о Гоголе:

– Я его однажды видел. Это было в одном московском литературном доме. Когда мне его показали, я был так поражен, точно увидел что-то сверхъестественное. Подумать только: Гоголь! Я смотрел на него с неопишуемой жадностью, но запомнил только то, что он стоял в толпе, тесно окружавшей его, что голова у него была как-то театрально закинута назад и что панталоны на нем были необыкновенно широки, а фрак очень узок. Он что-то говорил, и все его почтительно и внимательно слушали. Я же слышал только одну его фразу – очень закругленное изречение о законах фантастического в искусстве. Точно этой фразы не помню. Но смысл ее был таков, что, мол, можно писать о яблоне с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе.

Помню жуткие, необыкновенные чувства, которые испытал однажды (в молодости), стоя в церкви Страстного монастыря возле сына Пушкина, не сводя глаз с его небольшой и очень сухой, легкой старческой фигуры в нарядной гусарской генеральской форме, с его белой курчавой головы, резко-белых, чрезвычайно худых рук с костлявыми, тонкими пальцами и длинными, острыми ногтями.

Чьи-то замечательные слова:

– В литературе существует тот же обычай, что у жителей Огненной Земли: молодые, подрастая, убивают и съедают стариков.

То же и в языке. Поглощается один другим. Многое уже исчезло на моей памяти.

Мой отец обычно говорил прекрасным русским языком, простым и правильным. Но иногда вдруг начинал говорить в таком роде:

– Я не червонец, чтобы быть любезну всем.

– Я в тот вечер был монтирован, играл отчаянно.

– Мы с ним встретились на охоте. Он сам рекомендовал себя в мое знакомство.

В этом же роде пели наши бывшие дворовые:

– Вдыхаешь о другой: должна ли я то зреть? Досады такой должна ли я стерпеть?

– Я часто наслаждаюсь

Любовных слов твоих...

– Уж сколько дён все *мышлю* о тебе...

– Любовь сердцам угодна,

Страсть нежная природна,

Нельзя спастись любви...

Старые дворовые употребляли много церковнославянских слов. Они говорили:

– Ливан (ладан), Краниево Место (Голгофа), дщица (малая дощечка), орлий (орлиный), седатый (седой), пядница (маленькая иконка, в пядь), кампан (колокол), село (в смысле: поле)...

Они употребляли вообще много странных и старинных слов: не надобе (так писалось еще в Русской Правде: «не надобе делать того»), Египет-град, младшие (меньшие) колокола, стоячие образа (писанные во весь рост), оплечные образа, многоградный край; средидневный вар (зной), водовод (водопровод), паучина (паутина), безлетно (вечно), дивий (дикий, лесной), ажа (ложь), присельник пришлец, иноземец)...

Было это и в крестьянском языке. Мужика-лентяя и нищего называли:

– Пустой малый! Изгой, неudelный!

Изгоем же, как известно, назывался безместный удельный князь.

А не то кто-нибудь, бывало, говорит:

– Хочу в *Кыев* сходить, богу помолиться...

И невольно вспоминаешь: «Бяше возле града Кыева лес и бор велик...»

– Ведь что ж, она мне не чужая, а жена *водимая*... Или (когда нанимались в работники):

– Ну, когда такое дело, давайте, барин, рядиться... Опять как в Удельной Руси:

«Зачали рядиться, кому пригоже на большом княжении быти...»

Потом – рядиться в смысле наряжаться:

– Тебе теперь нечего рядиться, ты вдова божья, носить тебе надо одни смирные (темные) цвета...

И еще вспоминаю:

– К нам так-то одна страннй (странствующий) старичок приходил. Смотреть любо! В ручке костылик, за плечиком – дерюжное влагалище (сума, кошель)...

А какая нелепая и чудесная образность была в языке деревни!

Идет босая девка – подтянуто-стройно, виляя только кострецами: на правом плече тяжелое коромысло, по концам которого лежит мокрое белье.

– Куда-й-то ты?

– На речку, белье полоскать.

– Да ведь нынче праздник, грех работать.

– Конечно, грех, кабы я дома была. А то какой же грех, когда я тут у родных гощу?

– Тебя, говорят, просватали. Что ж, хорош твой жених?

– Какой там черт хорош! *Рот толстый, в нос гудит...*

То, что я стал писателем, вышло как-то само собой, определилось так рано и незаметно, как это бывает только у тех, кому что-нибудь «на роду написано». «Человек делается тем, о чем он думает». Но все-таки: почему один думает об одном, а другой о другом? От некоторых писателей я не раз слышал, что они стали писателями случайно. Не думаю, что это совсем так, но

все-таки могу представить себе их и не писателями, а вот самого себя не представляю. Были во мне с детства большие склонности к музыке, к живописи, к ваянию. Мой гувернер играл на скрипке, рисовал акварелью – и я и до сих пор помню то особенное волнение, с которым я брал в руки его скрипку или пачкал бумагу красками. В Ельце, гимназистом, я одно время жил у ваятеля всего того, что требуется для кладбищенских памятников, – и целую зиму, каждую свободную минуту млял глину, лепил из нее то лик Христа, то череп Адама и достиг таких успехов, что хозяин иногда пользовался моими черепами, и они попадали на чугунные кресты в изножья распятий, где, верно, и теперь еще пребывают, – где-то там, на монастырском кладбище в Ельце! Почему же все-таки не стал я ни музыкантом, ни ваятелем, ни живописцем?

Кстати: в старину из нашего рода вышло два знаменитых гравера.

Из писателей – «народников» во времена моей ранней молодости еще были живы Николай Успенский, Глеб Успенский, Златовратский, Засодимский, Наумов, Нефедов. Все они еще пользовались большой известностью и очень читались, – особенно Глеб Успенский и Златовратский; питались и некоторые из более ранних, уже умерших – Омудевский, Левитов... Большого различия между ними их почитатели не делали. А между тем различие было огромное: Левитов и оба Успенских были столь талантливы, что можно и теперь перечитывать их. Прочие «народники» были бездарны и забыты вполне справедливо.

Некоторые из рассказов Левитова поразили меня в ту пору, – особенно «Горбун», – поразили тем более, что связывались с его несчастным образом. Теперь о Левитове никто не знает, не помнит, а он был когда-то в первых рядах русской литературы и был не случайно, а с полным основанием, хотя талант его не развился даже и в десятой доле должной меры, душа с детства была надломлена всяческим убожеством той среды, в кото-

рой он родился и рос, – он был сын сельского дьячка, – потом бродяжничеством, пьянством. Участь его была участью многих его современников из числа писателей – «разночинцев»: в ранней молодости пешком ушел из своей Тамбовской губернии в Петербург, чтобы учиться и писать, «жить в центре умственных интересов», а в Петербурге жил только жизнью нищей и пьяной богемы, писал наспех, как попало, впал в пьянство уже беспробудное, в бродяжничество и босячество постоянное, полное душевного ожесточения, едкой сердечной горечи, и погиб в конце концов от белой горячки. Как многих, подобных ему, не раз пытались добрые люди спасти его, устроить – и, конечно, напрасно. Я знал одного из этих людей, и он мне рассказывал:

– Я однажды подобрал Левитова в такой грязи, в такой нищете, которой вы и представить себе не можете. Он у меня отдышался, отъелся, я его одел, обул, предоставил ему прекрасную комнату, снабдил карманными деньгами, – мол, живи, сколько хочешь, поправляйся, работай. И чем же он отплатил мне за все это? Выхожу раз утром, а он ходит по гостинной, куда только что поставили новую шелковую мебель, и мочится на кресла, на диваны: «Вот вам, говорит, полюбуйтесь, благодетель, на свою меццанскую роскошь!» А затем вышел в прихожую, взял картуз и палку – и исчез... Настоящий русский человек был!

Увлекался я в молодости и Николаем Успенским, и опять не только в силу его дарования, но в силу и личной судьбы его, во многом схожей с судьбой Левитова: страшные загадки русской души уже волновали, возбуждали мое внимание.

Он тоже когда-то занимал в литературе одно из самых видных мест. Однако он тоже сделал, кажется, все возможное, чтобы погубить и свою известность, и талант. Он бросил работать, стал пьяницей и бродягой и кончил свое существование еще хуже, чем Левитов: умер в Москве на улице, перерезал себе горло бритвой. Существование его было ужасное и позорное. Я, еще будучи почти мальчиком, много о нем слышал в Ефремове, а потом кое-что узнал от его тестя и тещи. Эти последние (духовного звания) жили от нас верстах в тридцати. Узнав о

смерти Успенского, я, с мальчишеской горячностью, тотчас же поскакал к ним. Батюшка принял меня ласково, но от разговоров о зяте уклонился, поспешил уйти на пасеку. Зато матушка, — очень необычная матушка, — проявила полную откровенность, даже призналась, что была несколько лет в связи с Успенским.

— Да, сказала она, это все правда, что говорят и говорили о Николае Васильевиче. Несколько лет тому назад он явился к нам босяком, поселился у нас, жил как член семьи, а затем увлек и обесчестил мою дочь, — назло мне, как сам он выразился. Назло за что? Затем он на ней женился, быстро свел ее в гроб, а девочку, прижитую с ней, увел с собой, уходя от нас. Жил он тем, что потешал купцов, мещан и мужиков всяким шутовством, игрой на гармонике, тем, что заставлял своего несчастного ребенка плясать и приговаривать похабщину. Он иногда даже брал ее, как щенка, за шиворот и, на забаву мужикам, бросал в реку, в пруд. Вот, говорил он, вы сейчас увидите, православные, образец рационального воспитания, — и трах ребенка в воду! Бог ему судья, замечательный, но ужасный был человек. Тургенев, желая его спасти, целое имение ему подарил. Так нет — он и имение бросил. Оскорбил ни за что ни про что, изругал самыми последними словами Тургенева и опять ушел шататься. А чем кончилось все это — вы знаете: зарезался в Москве на Кузнецком Мосту. А какой ум, какой талант был! Знаете ли вы, что некоторые страницы Глеба Успенского написаны не самим Глебом, а им? Ведь Глеб (его двоюродный брат) очень высоко ценил его и не раз просил: «Помоги-ка мне вот такой-то или такой-то мужицкий или мещанский разговор написать — ты это гораздо лучше сделаешь, чем я...»

Первое литературное разочарование — первое литературное знакомство: с писательницей Шабельской.

Мне было семнадцать лет, когда я впервые приехал в Харьков. Там я бывал у жены писателя Нефедова. Я уже читал тогда этого писателя и хорошо понимал, сколь он скучен и бездарен.

Но все равно – он был все-таки «настоящий» и очень известный в то время писатель, и вот я даже на жену его смотрел чуть не с восторгом. Легко представить себе после этого, что я почувствовал, узнав однажды, что в Харькове живет писательница Шабельская, та самая, которая когда-то сотрудничала в «Отечественных записках»! Я из всех ее произведений читал только одно: «Наброски углем и карандашом». Произведение это было скучнее даже Нефедова и, казалось бы, уж никак не могло воспламенить желанием знакомиться с его автором. Но я воспламенился: тотчас решил бежать хоть на дом к Шабельской взглянуть, и так и сделал: в тот же день пробежал несколько раз взад и вперед мимо этого замечательного дома на Сумской улице. Дом был как дом – каких сколько угодно в каждом русском губернском городе.

Брат смеялся, узнав о моем намерении нанести визит в этот дом:

– Не советую, – она совершенно неинтересна. И притом необыкновенно бестолкова. Познакомившись со мной, стала хвалить твои стихи в «Неделе», приписывая их мне. Я говорю: «Покорно благодарю, но только это не мои стихи, а моего младшего брата». Не понимает: «Да, да, а все-таки вы не скромничайте, – стихи ваши мне очень понравились...» Я еще раз говорю, что это не мои стихи, а твои, – опять не понимает!

Я, конечно, все-таки пошел. Пришел, робко позвонил, попросил горничную доложить, стою и с трепетом жду в прихожей, примут ли? Прихожая большая, сумрачная, тихая. Вышел рыжий господин в толстых золотых очках, – профессор, муж писательницы, – строго и недоуменно взглянул на меня, надел пальто, шляпу, взял трость с серебряным набалдашником и молча вышел. А затем появилась горничная и почему-то очень поспешно и даже как будто радостно пригласила меня войти в гостиную, а из гостиной раздался еще более поспешный и радостный, слегка шепелявый голос какой-то маленькой старушки:

– Милости прошу, милости прошу!

Точно ли она была старушка? Ничуть – ей было, я думаю, лет сорок пять, не более. Помню, однако, именно старушку, очень милую, с испуганным взором, видимо, чрезвычайно польщенную, что к ней явился поклонник. Уж на что я был смущен, а все-таки не мог не заметить, что она смущена еще более. Она даже не могла удержать счастливой и растерянной улыбки.

– Так, так, – бормотала она. – Так вы, значит, читали меня? Как это приятно, как мило с вашей стороны! А я вот читала стихи вашего брата...

Я мягко, но очень настойчиво повторил то самое, что уже говорил ей брат: это *не его* стихи. Но бестолковость ее, видимо, не имела предела. Она нежно улыбнулась и опять закивала головой:

– Да, да, ваш брат прекрасно пишет! И какая удача: уже попал в «Неделю»!

Мы в молодости были вообще очень скромны. <...>

Лет двадцати я в первый раз попал в Москву и решил воспользоваться случаем хоть на минуту заглянуть в литературный мир. Заглянуть было трудно, – пойти к кому-нибудь из известных писателей я стеснялся; спросят: что вам угодно, молодой человек? – и что я тогда отвечу? Подумав, я решил ограничиться посещением редакции «Русской мысли». Но и тут мне не повезло. Шел я, конечно, не очень спокойно, однако вошел в прихожую довольно смело и даже излишне громко предложил слуге передать мою визитную карточку «господину редактору», как вдруг из приемной почти выбежал прямо на меня какой-то бородатый, плотный господин: в поднятой руке у него торчало перо, поднятые ноздри зияли, очки блестели грозно и в то же время испуганно.

– Стихи? – крикнул он, не давши мне даже слова вымолвить, – и замотал на меня своими обеими короткими руками,

точно ластами: – Нет, нет, у нас запас стихов на целых девять лет!

Почему запаслась тогда «Русская мысль» стихами на девять лет, а не на десять, например, до сих пор не понимаю.

В Москве была лавка горбатого старика-букиниста. Помню: зима, лавка ледяная, пар от дыхания. Сидя на корточках в углу, перед грудой сваленных на полу книг, неловко роюсь в них, чувствуя на своей спине острый взгляд хозяина, сидящего в старом кресле и отрывисто отхлебывающего из стакана кипяток, жидкий чай.

– А вы что ж, тоже, значит, пишете, молодой человек?

– Пишу...

– И что ж, уж печатались?

– Да, немного...

– А где именно, позвольте спросить?

– В «Книжках Недели»... в «Вестнике Европы»...

– Стихи, разумеется?

– Да, стихи...

– Что ж, и стихи неплохо. Но только и тут надо порядочно головой поработать. Надо, собственно говоря, в жертву себя принести. Читали ли вы «Гюлистан» Саади? Я вам эту книжечку подарю на память. В ней есть истинно золотые слова. Вы же должны особенно запомнить следующие: «У всякого клада лежит стерегущий оный клад стоголавый змей». Это надо хорошенько понять. И пусть это и будет вам моим напутствием на литературном поприще. Писатель пошел теперь ничтожный. А почему? Он думает, что клады берутся голыми руками и с превеликой легкостью. Ан нет. Тут борьба не на живот, а на смерть. Вечная и бесконечная, до гробовой доски. И знаете, кто высказал эту мысль и именно в связи с вышеприведенными словами Саади? Сам Александр Сергеевич Пушкин. Слышал же я это все от букиниста Богомолова, его современника и приятеля. Торговал с ларька у Лубянской стены...

В первый свой приезд в Москву я познакомился только с московскими поэтами-«самоучками».

Это был жалкий трогательный народ. Бедность и редкая одержимость в смысле любви к литературе. Воспевали они, конечно, больше всего эту бедность, горько оплакивали свою долю, несправедливость, царящую в мире... Один с горечью восклицал:

Дурак катается в карете,
А ты летишь на ломовом!

Таких поэтов было несметное количество, и о других, кажется, и слуху не было. Потом сразу разразилась революция: Брюсов, Коневской, Александр Добролюбов...

Справедливость требует упомянуть еще Емельянова-Коханского. Это он первый поразил Москву: выпустил в один прекрасный день книгу своих стихов, посвященных самому себе и Клеопатре, – так на ней и было напечатано: «Посвящается Мне и египетской царице Клеопатре» – а затем самолично появился на Тверском бульваре: в подштанниках, в бурке и папахе, в черных очках и с длинными собачьими когтями, привязанными к пальцам правой руки. Конечно, его сейчас же убрали с бульвара, увели в полицию, но все равно: дело было сделано, слава первого русского символиста прогремела по всей Москве. Все прочие пришли уже позднее – так сказать, на готовое. <...>

До девяносто четвертого года я не видел ни одного настоящего писателя. Зато начались мои встречи с ними не более, не менее, как с Толстого. Я увидел его впервые в январе девяносто четвертого года. И с того времени литературные знакомства мои стали быстро увеличиваться. Через год после того я поехал в Петербург и познакомился там с Михайловским, Кривенко, то

есть с редакцией «Русского богатства», уже печатавшего тогда мои первые рассказы, побывал у поэта Жемчужникова и даже видел живого Григоровича, а приехав из Петербурга в Москву, сделал еще много знакомств: с Златовратским, Эртелем, Чеховым, Бальмонтом, Брюсовым, Емельяновым-Коханским, Коневским, Добролюбовым, Лохвицкой... Смесь вышла удивительная. Я увидел сразу целых четыре литературных эпохи: с одной стороны – Григорович, Жемчужников, Толстой; с другой – редакция «Русского богатства», Златовратский; с третьей – Эртель, Чехов; а с четвертой – те, которые, по слову Мережковского, уже «преступали все законы, нарушали все черты».

Все это повело к тому, что как-то сразу связалась с тех пор моя жизнь с жизнью литературной среды, а вскоре – во второй приезд в Петербург – эта связь еще более упрочилась, круг моих литературных знакомств и впечатлений еще более расширился. Тут я узнал еще много новых лиц: познакомился с некоторыми молодыми поэтами из плеяды Фофанова, с Сологубом, с редакцией «Современного мира», иначе говоря, с домом А. А. Давыдовой, издательницы этого журнала, у которой когда-то говеем своими людьми были и многие знаменитые писатели, – в числе их сам Гончаров, – и некоторые либеральные великие князья, и Крамской, и Рубинштейн, потом с ее зятем Туган-Барановским, входившим тогда в большую славу, с Маминным-Сибиряком, с Немировичем-Данченко, со столпом родничества Воронцовым, ведущим тогда ожесточенную борьбу со Струве, и с Туган-Барановским, которого Воронцов в своих статьях неизменно называл с самой язвительной вежливостью: «Господин Туган», с тощим и удивительно страстным Волинским, ярим врагом Михайловского, как раз в эту пору возвестившим нарождение в мире «новых мозговых линий», над которыми Михайловский всячески и жестоко издевался... Среди всех этих лиц, кажется, один неумоимо-жизнерадостный Немирович-Данченко не принадлежал ни к какой партии, на всех и на все поглядывал любезно и благодушно. Уж на что был спокоен, не склонен к спорам вечно сосавший свою трубочку

Мамин, а и тот не чужд был некоторым пристрастиям и довольно ядовито пускал иногда про Волынского:

– Что с него взять, – это, мне кажется, именно про него говорит одна купчиха у Лейкина: миазма млекопитающая...

Или про всю редакцию «Северного вестника»:

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей...

Один Немирович не язвил, не беспокоился.

– Все вздор, – сказал он мне однажды. – Одно не вздор: надо писать и еще писать. Вот вы, молодые писатели, – на вас просто смотреть жалко: прикасаетесь к бумаге с такой робостью, точно кошка перебегает дорогу после дождя. А надо так: купил чetyреста восемьдесят листов, то есть полную дeсть этой самой бумаги, сел – и ни с места, пока не исписал до единого.

Первое мое выступление на литературных вечерах было в начале зимы девяносто пятого года, в Петербурге, в знаменитом зале «Кредитного общества».

Незадолго перед этим, в первой книжке народнического журнала «Новое слово» под редакцией С. Н. Кривенко, одного из бывших столпов «Отечественных записок», я напечатал рассказ «На край света», – о переселенцах.

Рассказ этот критики так единодушно расхвалили, что прочие журналы стали приглашать меня сотрудничать, а петербургское «Общество попечения о переселенцах» даже обратилось ко мне с просьбой приехать в Петербург и выступить на литературном вечере в пользу какого-то переселенческого фонда. И вот я в Петербурге, – в первый раз в жизни, – и отправляюсь на этот вечер. Беру почему-то лихача и несусь среди огней и блеска великолепного морозного Невского. Возле огромного дома «Кредитного общества» блеск еще пуще: ослепительный электрический свет подъезда, конные городовые с седыми от мороза

усами, кареты и несметная толпа студентов и курсисток. Пробираюсь какими-то особыми лестницами куда-то наверх, где-то раздеваюсь – и сразу попадаю в общество знаменитостей, прочих участников вечера, уже собравшихся в артистической: «сам» Михайловский, «сам» Потапенко. – он тогда гремел на всю Россию, – затем Засодимский, Мамин, Минский, Баранцевич, – он славился как отличный чтец, – и «сам» Петр Исаевич Вейнберг, душа всех литературных вечеров Петербурга, в старомодном фраке, в белом галстуке, с острым и голым сияющим черепом, с юношескими глазами и душистой серебряной бородой, столь длинной и узкой, что его звали Черномором. Когда я вошел, он держал к присутствующим какую-то торжественно-комическую речь, воздев руки над большим столом, загроможденным цветами, фруктами и винами, – и вдруг повернулся и с воздетыми руками с размаху упал на одно колено: в артистическую, мерно и томно прихрамывая, шурша серым шелковым платьем, в сопровождении двух франтов-студентов из числа распорядителей вечера вплыла М. Г. Савина, а за нею, не в меру шурясь, медленно вошло как бы некое райское видение, удивительной красоты ангел в белоснежном одеянии и с золотистыми распущенными волосами, вдоль обнаженных рук которого падало до самого полу что-то вроде не то рукавов, не то крыльев: З. Н. Гиппиус, сопровождаемая сзади Мережковским.

– Божественная! – воскликнул все с тем же торжественно-комическим жаром Вейнберг, возводя глаза к потолку и целуя руку Савиной. – А мы уж тут с ног до головы трепетали: а вдруг вы не пожалуете!

И тотчас же вслед за тем начался вечер, и тут я впервые увидел всю бездну человеческого честолюбия и самолюбия. В тишине, сразу наступившей после третьего звонка, и в артистической и в зале, почти все участники вечера, при всей своей славе и привычке к публичным выступлениям, вдруг побледнели от волнения, от близости своего выхода на эстраду, – даже Михайловский стал как-то не в меру строг и серьезен, – и многие тотчас же стали, шепотом и вполголоса, наизусть и по книжкам, твердить то, что надо было читать, – особенно

большоголовый Минский: тот побледнел как смерть и затвердил со страстностью полоумного. Не проявили никакого видимого волнения только Вейнберг да Баранцевич, бодро пошедший на эстраду первым.

Я, конечно, читал «На край света» и опять, благодаря этим несчастным переселенцам (да и новизне своего имени), имел большой успех. Баранцевич, как человек многоопытный, этот успех заранее предвидел и потому «по-товарищески» предупредил меня:

– Не читайте, дорогой Иван Васильевич, громко. Эта зала странная: громкий голос гудит в ней, как в бочке. Читайте ровно и ничуть не поднимая голоса.

Но я, к счастью, тотчас же понял, выйдя на эстраду, цену этой товарищеской заботливости: в зале было тысячи три человек, она была набита сверху донизу, читать в ней «ровно и ничуть не поднимая голоса» значило осрамить себя до девятой пуговицы, – никто бы и звука не слышал.

Про успех прочих и говорить нечего – они хорошо знали свое дело.

Вейнберг потрясал залу своим громовым, театрально-вдохновенным голосом, читая то, что читал, как я узнал впоследствии, неизменно на каждом таком вечере, – свои стихи «К морю», которое, конечно, втайне означало всякие конституционные свободы:

Бесконечной пеленою
Развернулось предо мною
Старый друг мой, – море!
Сколько мощи необъятной,
Сколько воли благодатной
В царственном просторе!

Засодимский, страшный заика, отрывисто выпаливал тоже свое неизменное – из Некрасова:

Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай!

Человеческим стремлениям
В ней проснуться не мешай!

Что читал Потапенко, не помню. Да и не важно было, что именно он читает, – для публики было вполне достаточно того, что это Потапенко, автор знаменитой повести «На действительной службе». Кроме того, был он тогда кумиром еще и потому, что был красив – красотой немного дурного тона, но весьма яркой и лихой какой-то.

А Гишпиус вызвала целую бурю и негодующих криков и рукоплесканий: она читала стихи о том, что она любит себя «как бога».

Я видел однажды Григоровича: был как-то в магазине Суворина, разглядывал новые книжки – и вдруг услышал возле себя свежий и крепкий запах чудесного одеколона, поднял голову – и обомлел: Григорович!

Это было незадолго до его смерти, он был уже очень стар. Но свеж и бодр, как этот запах. Глаза веселые, живые и ласковые. Очень высок и довольно худощав. Маленькая, породистая, несколько гордо откинута назад серебряная голова. Белоснежные бакенбарды. Белоснежное кашне и превосходная енотовая пуба до пят... Не было предела моему страху, радости и удивлению: «Антон Горемыка»!

Жемчужников был не менее Григоровича изящен, душист, свеж и бодр, несмотря на всю слабость здоровья. Я бывал у него довольно часто, и меня поражала его неизменная ласковость ко мне, чисто отеческая заботливость к каждому стихотворению, которое я печатал при его содействии в «Вестнике Европы».

Он подарил мне «Кузьму Пруткова» и рассказал происхождение этой книги:

– Мы – я и Алексей Константинович Толстой – были тогда молоды и непристойно проказливы. Жили вместе и каждый день сочиняли по какой-нибудь глупости в стихах.

Потом решили собрать и издать эти глупости, приписав их нашему камердинеру Кузьме Пруткову, и так и сделали, и что же вышло? Обидели старика так, что он не мог простить нам этой шутки до самой смерти! Хотели мило пошутить, а обидели кровно.

Однажды он сказал:

– Я поэт не бог весть какой, а все-таки, думаю, не хуже, например, Надсона или Минского. Кроме того, могу смело сказать, я достаточно своеобразен, – даже более: совершенно оригинален, что ведь что-нибудь да значит и само по себе, силен в стихе... А вот подите же, почти никто и знать меня не хочет, а если и хочет, то только как Кузьму Пруткова. В чем тут причина, мой молодой друг? Думаю, что уж очень я разных кровей со многими теперешними. Ведь это совсем недаром говорят мужики о том, что даже у людей существуют разные «кровя», и ведь что такое кровь, как не душа?

Я вспомнил это недавно, прочтя о том, что теперь научные работы насчет переливания с точностью установили, что многочисленные неудачи смертельные случаи, сплошь и рядом происходящие при этом переливании, чаще всего зависят от «индивидуальной несовместимости кровей кроводателя и получателя»: оказывается, далеко не у всех людей одинаковая кровь, что «человечество разделяется по крови на целых четыре группы и что каждой из этих групп можно безнаказанно переливать лишь кровь группы соответствующей».

Так что Жемчужников был прав. В самом деле, как пенять на равнодушного читателя, на враждебного критика! Что с него взять, когда у него даже кровь, может быть, совсем другая, чем у тебя?

Жемчужников был светски очарователен в обращении, говорлив, как говорливы многие красивые старики высшего круга, привыкшие блистать в гостиных и неизменно бодрящиеся на людях.

– Вот все теперь говорят о новой поэзии, – сказал он однажды с заигравшимися вдруг глазами. – Теперь все стараются писать как-то по-новому. Вас, по вашей молодости, это, вероятно, тре-

вожит, искушает. Что ж, тревога полезная. Я ничего не имею против нового, избавь бог переписывать сто раз написанное. Но вот все-таки позвольте

Рассказать вам один старинный немецкий анекдот, – может быть, вы его не знаете. Студент приходит к своему профессору и говорит:

«Господин профессор, я хочу создать новое солнце».

«Что же может быть лучше, мой дорогой друг? – отвечает профессор. – От души радуюсь за вас и желаю успеха».

«Да, но мне, господин профессор, необходимо знать, что именно нужно знать для этого?» – говорит студент.

«О, пустяки! – отвечает профессор. – Прежде всего необходимо изучить солнечные пятна».

«Пятна? Зачем?»

«А затем, мой друг, чтобы обойтись без них».



Мои впечатления от петербургских встреч были разнообразны, резки. Какие крайности! От Григоровича и Жемчужникова до Сологуба, например! И то же было и в Москве, где я встречал то Гольцева и прочих членов редакции «Русской мысли», то Златовратского, то декадентов и символистов. Когда я заходил к Златовратскому, он, по-толстовски хмуря свои косматые брови, – он вообще играл немного под Толстого, благодаря своему некоторому сходству с ним, – с шутливой ворчливостью говорил порой: «Мир-то, друзья мои, все-таки спасается только лаптем, что бы там ни говорили господа марксисты!» Златовратский из года в год жил в Гиршах в маленькой квартирке с неизменными портретами Белинского, Чернышевского; он ходил, по-медвежьи покачиваясь, по своему прокуренному кабинету, в стоптанных войлочных туфлях, в ситцевой косоворотке, в низко спустившихся толстых штанах, на ходу делал машинкой папиросы, втыкая ее в грудь себе, и бормотал:

– Да, вот мечтаю нынешним летом опять поехать в Апрельку, – знаете, это по Брянской дороге, всего час езды от

Москвы, а благодать... Бог даст, опять рыбки половая, по душам поговорю со старыми приятелями, – там у меня есть чудеснейшие мужики-соседи... Все эти марксисты, декаденты какие-то, все это, милый, эфемериды, накипь!

А «декаденты» бредили альбатросами, Явой, Шотландией, гордо скандировали:

Мы – путники ночи беззвездной,
Искатели смутного рая!

В Москве они появились особенно внезапно и скандализировали публику гораздо резче, чем в Петербурге. Москву поразила первый Емельянов-Коханский. После него Брюсов, – «О, закрой свои бледные ноги!» Емельянов-Коханский вскоре добровольно сошел со сцены: женился на купеческой дочери и сказал: «Довольно дурака валять!» Это был рослый, плотный мальчик, рыжий, в веснушках, с очень неглупым и наглым лицом. Дурака валял он совсем не так уж плохо, как это может показаться сначала. Мне думается, что он имел на начинающего Брюсова значительное влияние. А впоследствии ближайшими соратниками Брюсова были Коневской и Добролюбов. Коневской так и остался никому не известен, Брюсов иначе не называл его, как гением. А на деле это был просто больной и несчастный юноша. Вытертая студенческая тужурка, худые и совершенно деревянные плечи, испитое лицо, стоячие белесые глаза, рыжеватые слабые волосы. Говорил он мало и крайне невразумительно. Писал что-то очень напряженное, но еще более невразумительное. Не знаю, что из него вышло бы, – он внезапно умер от разрыва сердца, купаясь.

Так же внезапно погиб для литературы и Добролюбов. Но о нем некоторые помнят и до сих пор. Блок писал о нем:

Из неживого тумана
Вышло больное дитя...

Но что за «туман неживой» был в Москве в ту пору? Да и на дитя Добролюбов был непохож. Это был сутулый и широко-

плечий молодой человек с большим лицом, имевшим совершенное сходство с белой маской, которой жутко чернели какие-то сказочно-восточные глаза. Один из друзей его детства рассказывает: «Мы вместе с ним росли и учились в Варшаве. По матери был полуполяк, полуфранцуз. В детстве был помешан играх в индейцев, был необыкновенно жив, страстен. Юношей страшно изменился: стал какой-то мертвый, худой. Злоупотреблял наркотиками – курил опиум, жевал гашиш, прыскался каким-то острым индийским бальзамом. Основал «кружок декадентов», издал книгу своих стихов: «Из книги Невидимой, или Натура Натуранс» с совершенно нечеловеческими строками какого-то четвертого измерения...» На меня Добролюбов сразу произвел вполне определенное впечатление: помешанный. Достаточно было взглянуть на него, когда он шел по улице: опасливо пробирается возле самой стены, глядит вкось, вся фигура тоже перекошенная, руки в черных перчатках, выставлены вперед... Как известно, он куда-то скрылся, – ушел странствовать по России, в армяке, в лаптях, – и навсегда где-то пропал. Брюсов и его называл гениальным. Блок тоже. Почему? Брюсов, со свойственной ему жаждой архива, описей, сделал опись всех его изданных и неизданных сочинений. Опись вышла очень невелика. Но в числе этих сочинений есть, например, такое: «Опровержение Шопенгауэра и *всех* философов».

Брюсова я узнал еще в студенческой тужурке. Поехал к нему в первый раз с Бальмонтом. Он жил на Цветном бульваре, в доме своего отца, торговца пробками. Дом был небольшой, двухэтажный, толстостенный, – настоящий уездный, третьей гильдии купеческий, с высокими и всегда запертыми на замок воротами, с калиткой, с собакой на цепи во дворе. Мы Брюсова в тот день не застали. Но на другой день Бальмонт получил от него записку: «Очень буду рад видеть Вас и Бунина, – он настоящий поэт, хотя и не символист». Поехали скова – и я увидел молодого человека с довольно толстой и тугой гостинодворческой

(и широкоскуло-азиатской) физиономией. Говорил этот гостинодворец, однако, очень изысканно, высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос, и все время сентенциями, тоном поучительным, не допускающим возражений. Все было в его словах крайне революционно (в смысле искусства), — да здравствует только новое и долой все старое! Он даже предлагал все старые книги дотла сжечь на кострах, «вот как Омар сжег Александрийскую библиотеку!» — воскликнул он. Но вместе с тем для всего нового у него уже были жесточайшие, непоколебимые правила, уставы, узаконения, малейшие отступления от которых он, видимо, готов был тоже жечь на кострах. И аккуратность у него, в его низкой комнате на антресолях, была удивительная. Я попросил у него на несколько дней какую-то книгу. Он странно сверкнул на меня из своих твердых скул своими раскосыми, бессмысленно блестящими, как у птицы, черными глазами и с чрезвычайной галантностью, но и весьма резко отчеканил:

— Никогда и никому не даю ни одной из своих книг даже на час!

Первая встреча моя с Тетерниковым (Сологубом) была в декабре девяносто шестого года (в Петербурге). Зашел однажды утром к одному молодому писателю и увидел за чайным столом хозяина и какого-то незнакомого господина в учительском фраке. Хозяин, человек от природы очень живой, что-то громко и весело говорил. Господин сидел молча, с мертвой важностью подняв ничего не выражающее лицо, тупо глядя сквозь пенсне и полуоткрыв рот. Хозяин познакомил нас — он молча подал мне большую, и очень бледную руку, довольно продолжительно и бесцеремонно поглядел на меня с тем же тупым вниманием. Лет он был неопределенных, хотя уже почти лыс. Фрак, панталоны, сапоги — все было у него провинциальное, бедночиновничье. Общий вид тоже довольно захолустный, свидетельствующий о скудных достоинствах простом происхождении:

песочно-рыжеватые усы и такая же бородка, нечистый цвет желто-серого, слегка одуловатого и удлиненного лица, удлиненная картофелина носа и большая бородавка возле него, выражение лишено осмысленности. Это и был Сологуб. И вот что произошло при этой первой нашей встрече: уходя, он вдруг задержал мою руку в своей и неожиданно ухмыльнулся, на мой же вопрос о причине этого смеха глухо ответил:

– Я тому смеюсь, что все гадаю: любите ли вы мальчиков?

Последний раз я видел его в шестнадцатом году, у него на дому, на большом званом вечере. Он уже давно был славен, жил в достатке и, кажется, нередко устраивал такие вечера – собирал у себя литературных знаменитостей. В этот вечер знаменитостей собралось много, были Горький, Андреев. Но хозяин почему-то долго не выходил, предоставив принимать гостей Чеботаревской. Когда же вышел, то я глазам своим не поверил: на нем был смокинг, смятые и вытянутые в коленках панталоны, зеленые шерстяные носки и лакированные туфли со сбитыми каблуками.

Одно из самых приятных литературных воспоминаний – о Мирре Александровне Лохвицкой.

Она умерла еще молодой и вскоре после смерти была забыта. Но при жизни пользовалась известностью, слыла «русской Сафо» (как, впрочем, многие русские поэтессы). Воспевала она любовь, страсть, и все поэтому воображали ее себе чуть не вакханкой, совсем не подозревая, что она, при всей своей молодости, уже давно замужем, – муж ее был один из московских французов, по фамилии Жибер, – что она мать нескольких детей, большая домоседка, по-восточному ленива: часто даже гостей принимает, лежа на софе в капоте, и никогда не говорит с ними с поэтической томностью, а напротив, болтает очень

здорово, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью, – все, очевидно, родовые черты, столь блестяще развившиеся у ее сестры, Н. А. Тэффи. Такой, по крайней мере, знал ее я, а я знал ее довольно долго, посещал ее дом нередко, был с ней в приятельстве, – мы даже называли друг друга уменьшительными именами, хотя всегда как будто иронически, с шутками друг над другом.

– Миррочка, дорогая, опять лежите?

– Опять.

– А где ваша лира, тирс, тимпан?

Она заливалась смехом:

– Лира где-то там, не знаю, а тирс и тимпан куда-то затащили дети...

С особенным удовольствием вспоминаю нашу первую встречу. Мы случайно сошлись в редакции «Русской мысли» – оба принесли туда стихи, – познакомились и вместе и вышли. Все было очень бело, валял крупный снег, впереди ничего не было видно, – только очаровательная белизна. Она тотчас же весело начала;

– Послушайте, а про мужиков это тоже вы пишете?

– Я не про одних мужиков пишу,

– Но все-таки – вы?

– Я.

– Зачем?

– А почему же не писать и про мужиков?

– Ну вот! Пусть себе живут и папсут, нам-то что до них? Удивительнее всего то, что за них тоже, говорят, платят. Вам сколько платят?

– Рублей семьдесят пять, восемьдесят за лист.

– Боже мой! А за стихи сколько?

– Полтинник за строчку.

Она даже приостановилась:

– Как? А почему же мне всего четвертак?

– Не знаю.

– Значит, я хуже вас?

– Помилуй бог, что вы!

– Но в чем же тогда дело? Вам сколько лет?

– Двадцать четыре.

– Ну тогда, очевидно, только потому, что я по сравнению с вами еще ребенок...

И все в ней было прелестно – звук голоса, живость речи, блеск глаз, эта милая, легкая шутливость... Она и правда, была тогда совсем молоденькая и очень хорошенькая. Особенно прекрасен был цвет ее лица, – матовый, ровный, подобный цветущему крымскому яблоку. На ней было что-то нарядное, из серого меха, шляпка тоже меховая. И все это было в снегу, в крупных белых хлопьях, которые валили, свежо тая на ее щеках, на губах, на ресницах...

Первую книгу рассказов я издал в конце 1896 года у Поповой (известной в то время петербургской издательницы).

Первый сборник стихов – в «Скорпионе», в девяносто девятом году. «Скорпион» существовал (под редакцией Брюсова) на деньги некоего Полякова, богатого московского купчика, из тех, что уже кончали университеты и тянулись ко всяким искусствам, человека еще молодого, но истрепанного, лысеющего, с желтыми и почему-то всегда мокрыми усами. Купил этот Поляков чуть не каждую ночь напропалую и весьма сытно кормил-поил по ресторанам и Брюсова, и всю прочую братию московских декадентов, символистов, «магов», «аргонатов», искателей «золотого руна». Однако со мной он оказался скупее Плюшкина: пришел ко мне с Брюсовым для переговоров чуть не утром, а ушел только вечером – все торговался, все сбивал цену и таки добился того, что я махнул рукой и отдал ему книгу всего за триста рублей. А потом вынул из кармана и стал показывать жемчужное ожерелье, которое только что купил в подарок своей невесте:

– Правда, хорошо? По случаю купил и совсем за грош – за двадцать пять тысяч...

«Скорпион» вообще не баловал своих сотрудников гонорами. Помню, как однажды горестно пел Вячеслав Иванов:

– Знаете, сколько получил я от Полякова за свою последнюю книгу? Увы, всего пятьдесят рублей!

Зато издавал Поляков великолепно. И, конечно, поступал умно. Издания «Скорпиона» расходились весьма скромно – «Весы», например, достигли (на четвертый год своего существования) тиража всего-навсего в триста экземпляров – но внешностью весьма много способствовали своей славе. А потом – названия поляковских изданий: «Скорпион», «Весы» или, например, название первого альманаха, выпущенного «Скорпионом»: «Северные цветы, альманах первый, ассирийский». Все недоумевали: почему «Скорпион»? И что за «Скорпион» – гад или созвездие? И отчего эти «Северные цветы» вдруг оказались ассирийскими? Однако это недоумение вскоре сменилось у многих почтением, восхищением. Так что, когда вскоре после того Брюсов даже и самого себя объявил ассирийским магом, все уже свято верили, что он маг. Это ведь не шутка – ярлык. «Чем себя наречешь, тем и прослынешь».

А как обмывали, как обвешивали эти «Весы»! Вес «своих» всегда оказывался огромный, вес чужих – смехотворный. Например, все участники «Знания» назывались в «Весах» неизменно «всероссийскими бездарностями». Про меня – я вскоре почел за благо удалиться из этого литературного лабаза – было однажды сказано так: «Произведения Бунина подобны солдатским сапогам, поставляемым интендантствами, – сапогам с бумажными подошвами». Это написал молодой поэт Сергей Соловьев, который, впрочем, вскоре после того вдруг прислал мне письмо: «Простите мне, ради бога, мою низость – я написал о Вас по приказу, то, что буквально продиктовали мне...»

О Горьком, как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет точного представления. Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже целых сорок лет мировой славы, основанной

на беспримерно счастливом для ее носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец о том, какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о соколе» – песня о том, как «высоко в горы вполз уж и лег там», а затем, ничуть не будучи от природы смертоносным гадом, все-таки ухитрился насмерть ужалить за что-то сокола, тоже почему-то очутившегося в горах. Молва твердит: «Босьяк, поднялся со дна моря народного...» А в словаре Брокгауза другое: «Горький-Пешков, Алексей Максимович. Родился в шестьдесят девятом году, в среде вполне буржуазной: отец – управляющий большой паровой конторы, мать – дочь богатого купца-красильщика...» Дальнейшее основано, только на автобиографии Горького. «Грамоте учился у деда, по псалтырю, потом, будучи поваренком на пароходе, у повара Смурого, человека сказочной силы и грубости и – нежности... Смурый привил мне, дотоле люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и я до безумия стал зачитываться Некрасовым, журналом «Искра», Успенским, Дюма... Из поварят попал я в садовники, поглощал классиков и литературу лубочную. В пятнадцать лет возымел свирепое желание учиться, поехал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но оказалось, что оно не принято, вследствие чего и поступил в крендельное заведение. Работая там, свел знакомство со студентами... А в девятнадцать лет пустил в себя пулю и, похворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцию яблоками... В свое время был призван к отбыванию воинской повинности, но, когда обнаружилось, что дырявых не берут, поступил в письмоводители к адвокату Ланину, однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигенции совсем не на своем месте и ушел бродить по югу России...»

В девяносто втором году Горький напечатал в газете «Кавказ» свой первый рассказ «Макар Чудра», который начинается так: «Ветер разносил по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны... Мгла осенней ночи пугливо

вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, старого цыгана. Полулежа в красивой, свободной и сильной позе, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил: – Ведома ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге! Он, парень, раб!» А через три года после того появился знаменитый «Челкаш». Уже давно шла о Горьком молва, уже многие зачитывались и «Макаром», и последующими созданиями: «Емельян Пиляй», «Дед Архип и Ленька»... Уже славился, кроме того, Горький сатирами – например, «О чиже, любителе истины, и о дятле, который лгал», – был известен как фельетонист, ибо писал и фельетоны (в «Самарской газете»), подписываясь: Иегудил Хламида. По вот появился «Челкаш»...

Как раз к этой поре и относятся мои первые сведения о нем. В Полтаве прошел вдруг слух: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький. Фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с такими полями и с суковатой дубинкой в руке...» А познакомились мы весной девяносто девятого года. <...>

У него был тогда брат. Я видел его в Ялте той же весной. Он работал при каком-то винном складе, мыл бутылки. У него была чахотка, ему нужен был южный климат. И вот он добрался откуда-то с Волги в Ялту. Он был очень худой, высокий, темноликий – типичный пожилой мастеровой и по виду, и по одежде, из тех, что страдают запоями, как это и было на самом деле, очень молчаливый, как бы всегда стыдящийся своих разбитых сапог и своей слабости насчет спиртного искушения. <...>

Заглавие пьесы «На дне» принадлежит Андрееву. Авторское заглавие было хуже: «На дне жизни». Однажды, выпивши, Андреев говорил мне, усмехаясь, как всегда в подобных случаях,

гордо, весело и мрачно, ставя точки между короткими фразами твердо и настойчиво:

– Заглавие – все. Понимаешь? Публику надо бить в лоб и без промаху. Вот написал человек пьесу. Показывает мне. Вижу: «На дне жизни». Глупо, говорю. Плоско. Пиши просто: «На дне». И все. Понимаешь? Спас человека. Заглавие штука тонкая. Что было бы, например, если бы я вместо «Жизнь человека» брякнул: «Человеческая жизнь»? Ерунда была бы. Пошлость. А я написал: «Жизнь человека». Что, неправду я говорю? Я люблю, когда ты мне говоришь, что я «хитрый на голову». Конечно, хитрый. А вот что ты похвалил мою самую элементарную вещь «Дни нашей жизни», никогда тебе не прошу. Почему похвалил? Хотел унижить мои прочие вещи. Но и тут: плохо разве придумано заглавие? На пять с плюсом. <...>

Одно время, особенно на Капри, где я прожил три зимы, мы с Горьким дружили. Лично ко мне он всегда выказывал большое расположение, внимание, даже нежность. Я не мог на это не отзываться. Кроме того, был в нем и другой человек, иногда чрезвычайно милый.

И расстались мы с ним дружески – в Петербурге семнадцатого года – расцеловались на прощанье – навсегда, как оказалось...

Чехов говорил про Найденова:

– Какие мы драматурги! Единственный настоящий драматург – Найденов: прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри! Он должен теперь, после «Детей Ванюшина», еще десять пьес написать и девять раз с треском провалиться, а на десятый опять такой успех сорвать, что только ахнешь!

Предсказание его не сбылось. После «Детей Ванюшина» Найденов написал еще несколько пьес, которые шли и в Малом театре, и в Художественном, но успеха не имел и через некоторое время как-то затерялся: новых пьес больше не ставил, – да, может быть, и не писал их, – из литературных кругов исчез, жить стал где-то под Москвой, потом переселился в Крым, безвыездно сидел там несколько лет, дождался революции, большевиков – и умер, пережив все, что полагается, сокрушенный пережитым, в нищете, в забвении и, насколько мне известно, в высоком религиозном подъеме... Странная судьба и странный был человек, истинно российское порождение!

Мы познакомились с ним вскоре после того, как на него свалилась слава – именно свалилась, – быстро стали приятелями, часто виделись, часто вместе ездили – то в Петербург, то на юг, то за границу... В нем была смесь чрезвычайной скрытности и чисто детской откровенности, простоты и даже наивности, и вот что слышал я от него в такие откровенные минуты.

– Кто я? – мрачно, басом начинал он, зверски двигая челюстью, неловко запуская тонкие пальцы в черные волосы, закидывая их назад, поправляя криво висящее на тонком восточном носу пенсне, набирая в грудь воздуху, надуваясь, высоко и с усилием поднимая правое плечо, и, надувшись, приняв эту нелепую, напряженную позу, став похожим на злого ворона, медленно выпускал воздух и понемногу менял зверское выражение на удивленное, отклонял голову назад и долго глядел через пенсне пристально и бессмысленно своими карими рачьими глазами. – Кто я? – спрашивал он с удивлением, и вдруг лицо его начинало все больше и больше озаряться радостью, милой и наивной улыбкой. – Да сам черт не разберет, кто я! – говорил он уже тонким голосом, уже смеясь и детски-вопросительно глядя на меня. – Я ведь сам из «Детей Ванюшина»! Татарская кровь? Да, конечно, она во мне есть, мы ведь казанские, хотя и была наша семья уж какая русская, старозаветная! Учиться я, конечно, не доучился, торговал образами... Тут мне выделили некоторую часть, я поехал по делам на Кавказ – и вдруг встретил на пароходе одну особу... Встретил – и, конечно, все полетело к

черту. Связались мы с ней, и через недолгое время не осталось у меня в кармане буквально ни гроша. А что было потом – долго рассказывать. Было, между прочим, то, что достукался я до приказчика в паршивой московской лавчонке готового платья. Жил в мерзком номеришке на Тверской, вставал в седьмом часу, пил чай, просматривал «Московский листок», шел на службу. По вечерам иногда писал и, написав этих самых «Детей Ванюшина», вдруг взял да и послал их в Петербург, на конкурс, объявленный Суворинским театром, послал, конечно, совершенно так, ни с того ни с сего, без всяких надежд, как какой-нибудь пьяный, вдруг вздумавший позвонить в богатый подъезд. Послал – и забыл. А в один прекрасный день развернул «Московский листок» и вдруг вижу: премия в тысячу рублей присуждена в Суворинском театре автору «Детей Ванюшина!» Что ж мне оставалось после этого делать? Покидал в чемодан свой убогий скарб – и в Петербург. Даже и не зашел в магазин, не сказал, что, мол, место бросаю. А через некоторое время – слава и куча денег. Недурно? – спрашивал он, заливаясь радостным смехом и удивленно и вопросительно выпучивая свои рачьи глаза.

За Горьким пришел Скиталец, Андреев. А там, в другом лагере, появился Блок, Белый, расцвел Бальмонт...» Скиталец – некое подобие соборного певчего «выпивахом» – притворялся гусяром, ушкуйником, рычал на интеллигенцию: «Вы жабы в гнилом болоте!» – упивался своей неожиданной, негаданной славой и все позировал перед фотографиями: то с гусями, – «ой ты гой, еси, ты детинушка, вор-разбойничек!» – то обнявшись с Горьким, то сидя на одном стуле с Шаляпиным; однажды, после литературного вечера в Благородном собрании, где он имел совершенно бешеный успех именно за этих «жаб», он спросил себе в Большом Московском щей и тарелку зернистой икры, зачерпнул по ложке того и другого и бросил салфетку в щи: «Нет, и есть не хочу! Больно велик аплодисмент сорвал!» Андреев все крепче и все мрачнее бледнел во хмелю, стискивал

зубы и от своих тоже головокружительных успехов, и тех идейных бездн и высот, пребывание среди которых он считал своей специальностью. И все ходили в поддевках, в шелковых рубашках навыпуск, в ременных поясах с серебряным набором, в длинных сапогах – я однажды встретил их всех сразу и фойе Художественного театра во время антракта и не удержался, спросил дурацким тоном Коко из «Плодов просвещения», увидавшего на кухне мужиков:

– Э-э-э ... Вы охотники?

А там, в другом лагере, рисовался образ кудрявого Блока, его классическое мертвое лицо, тяжелый подбородок, мутно-сонный взор. Там Белый «запускал в небеса ананасом», вопил о наставшем преображении мира, весь дергался, приседал, подбегал, отбегал, бессмысленно-весело озирался по сторонам с какими-то странно вкрадчивыми ужимками, ярко, блаженно-радостно блеснул глазами и все сыпал новыми и новыми мыслями... Недавно он выпустил в Москве книгу: «Ритм как диалектика», в которой говорит о Пушкине так: «Медный всадник» написан как бы октябрём 1917 года. Перед смертью Пушкин слетал в люмпен-пролетариат...»

В одном лагере рвали издания «Знания»; были книги «Знания», в месяц, в два расходившиеся в ста тысячах экземпляров, как говорил Горький. А там тоже одна ударная книга сменяла другую, – Гамсун, Пшибышевский, Верхарн, «Urbi et Orbi». «Будем как Солнце», «Кормчие звезды», один журнал следовал за другим: за «Весами» – «Перевал», за «Миром искусства» – «Аполлон», «Золотое руно», – следовал триумф за триумфом Художественного театра, на сцене которого были то древние кремлевские палаты, то кабинет «дяди Вани», то Норвегия, то «Дно», то метерлинковский остров, на котором грудями лежали какие-то тела, глухо стонавшие: «Нам стра-ашно!» – то тульская изба из «Власти тьмы», вся загроможденная телегами, дугами, колесами, хомутами, вожжами, корытами и мисками, то самые настоящие римские улицы с настоящим голоногим плетсом. Потом начались триумфы «Шиповника». Ему и Художественному театру суждено было много способствовать объединению

этих двух лагерей. «Шиповник» стал печатать Серафимовича, «Знание» – Бальмонта, Верхарна. Художественный театр соединил Ибсена с Гамсуном, царя Федора с «Дном», «Чайку» с «Детьми солнца». Много способствовал этому объединению и конец девятьсот пятого года, когда в газете «Борьба» появился рядом с Горьким Брюсов, рядом с Лениным Бальмонт... Потом запел Игорь Северянин.

В сирень, шофер, в сирень...

Дальше возникли мистический анархизм, мистический реализм, адамизм, акмензм, футуризм:

О засмейтесь усмехательно
Смехом смейным, смехачи...

И пир всех искусств шел и по домам, и по редакциям, и у «Яра» в Москве, и в петербургской «Башне» Вячеслава Иванова, и в ресторане «Вена», и в подвале «Бродячей собаки»:

Все мы бражники здесь, блудницы...

Об этом времени писал Блок (вполне серьезно):

«Мятеж лиловых миров стихает. Скрипки, хвалившие призрак, обнаруживают свою истинную природу. Лиловый сумрак рассеивается... И в разреженном воздухе горький запах миндаля... В лиловом сумраке необъятного мира качается огромный катафалк, а на нем лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз...»

Париж, 1927.

Автобиографические заметки

Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине «Петрополисом».

Дополняю их некоторыми новыми. <...>

Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в тот бесконечно давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание немедленно сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражен тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками: я увидел в ней картинку, изображавшую какие-то дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого, толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом, то есть с зобом, стоявшего под водопадом с длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером, а под картинкой прочел подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне: *«Встреча в горах с кретином»*. Кретин! Не будь этого необыкновенного слова, карлик с зобом, с бабьим лицом и в шляпке вроде женской показался бы мне, вероятно, только очень противным, и больше ничего. Но кретин? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?

Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с крестинами, на вид тоже довольно противными, хотя и без зоба, из коих некото-

рые, вовсе не будучи волшебными, были, однако, и впрямь страшны, и особенно тогда, когда та или иная мера кретинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью, одержимостью, с какими-нибудь историческими силами, — ведь, как известно, и это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что! Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории. <...>

Я родился в Воронеже, прожил в нем целых три года, а кроме того, провел однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видеть: приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, немало угощался и на вечере и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московскому поезду уже совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством. <...>

...В моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несуразного: один известный поэт, — он еще жив, и мне не хочется называть его, — рассказывал в своих стихах, что он шел, «колосья пшеницы разбирая», тогда как такого растения в природе никак не существует: существует, как известно, просо, зерно которого и есть пшено, а колосья (точнее, метелки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал лунь, вечернюю птицу из породы сов, оперением седую, таинственно-тихую, медлительную и совершенно бесшумную при перелетах, — со страстью («и страсть ушла, как отлетевший

лунь»), восторгался цветением подорожника («подорожник весь в цвету!»), хотя подорожник, растущий на полевых дорогах небольшими зелеными листьями, никогда не цветет; а что до дворянских поместий и владельцев их, то Гумилев изображал их уж совсем плохо: у него в этих поместьях –

Дома косые двухэтажные
И *тут же* рига, скотный двор, –

а сами помещики и того удивительнее, они, оказывается, «гордятся новыми поддевками» и по тиранству, по Домострою не уступают любому старозаветному Титу Титычу: дочери их будто бы пикнуть при них не смеют и, принуждаемые ими выйти замуж за постылых, нелюбимых, подумывают «стать русалками», то есть утопиться где-нибудь в речке или в пруду. А совсем недавно один из видных советских поэтов описал какого-то охотника, который идет в лесу *«по дереву»* и несет *в ягташе* золотую *лису*: это так же правдоподобно, как если бы он нес в кармане собаку. <...>

В литературную среду я вошел в середине девяностых годов. Тут я уже не застал, к несчастью, ни Фета, ни Полонского, не застал Гаршина, – его прекрасный человеческий образ сочетался с талантом, который, если бы не погиб в самоубийстве, развивался бы, несомненно, так, что поставил бы его в ряд с самыми большими русскими писателями. Но я застал еще не только самого Толстого, но и Чехова; застал Эртеля, тоже замечательного человека и автора «Гардениных», романа, который навсегда останется в русской литературе; застал Короленко, написавшего свой чудесный «Сон Макара», застал Григоровича, – видел его однажды в книжном магазине Суворина: тут передо мной был уже легендарный человек; застал порта Жемчужникова, одного из авторов «Кузьмы Пруткова», часто бывал у него, и он называл меня своим юным другом... Но в те годы была в России уже в

полном разгаре ожесточенная война народников с марксистами. <...> А в другом стане уже славились Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, Сологуб... Всероссийская слава Надсона в те годы уже кончилась, Минский, его близкий друг, еще недавно призывавший грозу революции:

Пусть же гром ударит и в мое жилище,
Пусть я даже буду первый грома пицей! –

Минский, все-таки не ставший пицей грома, теперь пере-страивал свою лиру тоже на их лад. Вот незадолго до этого я и познакомился с Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом, когда они были горячими поклонниками французских декадентов, равно как Верхарна, Пшибышевского, Ибсена, Гамсуна, Метерлинка, но совсем не интересовались еще пролетариатом. <...>

Вскоре после нашего знакомства Брюсов читал мне, лая в нос, ужасную чепуху:

О, плачьте,
О, плачьте
До радостных слез!
Высоко на мачте
Мелькает матрос!

Лаял и другое, нечто уже совершенно удивительное, – про восход месяца, который, как известно, называется еще и луною:

Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне!

Впоследствии он стал писать гораздо вразумительнее, несколько лет подряд развивал свой стихотворный талант неуклонно, достиг в версификации большого мастерства и разнообразия, хотя нередко срывался и тогда в дикую словесную неуклюжесть и полное свинство изображаемого:

Альков задвинутый,
Дрожанье тьмы,
Ты запрокинута,
И двое мы...

Был он, кроме того, неизменно напыщен не меньше Кузьмы Пруткова, корчил из себя демона, мага, беспощадного «мэтра», «кормщика»... Потом неуклонно стал слабеть, превращаться в совершенно смехотворного стихоплета, помешанного на придумывании необыкновенных рифм:

В годы Кука, давно славные,
Бригам ребра ты дробил,
Чтоб тебя узнать, их главный – и
Неповторный опыт был...

Что до Бальмонта, то он своими выкрутасами однажды возмутил даже Гиппиус. Это было при мне на одной из литературных «пятниц» у поэта Случевского. Собралось много народу, Бальмонт был в особенном ударе, читал свое первое стихотворение с такой самопоуенностью, что даже облизывался:

Лютики, ландыши, ласки любовные...

Потом читал второе, с отрывистой чеканностью:

Берег, буря, в берег бьется
Чуждый чарам черный челн...

Гиппиус все время как-то сонно смотрела на него в лорнет и, когда он кончил и все еще молчали, медленно сказала:

– Первое стихотворение очень пошло, второе – непонятно.

Бальмонт налился кровью:

– Пренебрегаю вашей дерзостью, но желаю знать, на что именно не хватает вашего понимания?

– Я не понимаю, что это за челн и почему и каким таким чарам он чужд, – раздельно ответила Гиппиус.

Бальмонт стал подобен очковой змее:

– Поэт не изумился бы мещанке, обратившейся к нему за разъяснением его поэтического образа. Но когда поэту докучают мещанскими вопросами тоже поэт, он не в силах сдержать своего гнева. Вы не понимаете? Но не могу же я приставить вам свою голову, дабы вы стали понятливей!

– Но я ужасно рада, что вы не можете, – ответила Гиппиус. – Для меня было бы истинным несчастьем иметь вашу голову...

Бальмонт был вообще удивительный человек. Человек, иногда многих восхищавший своей «детскостью», неожиданным наивным смехом, который, однако, всегда был с некоторой бесовской хитрецей, человек, в натуре которого было немало притворной нежности, «сладостности», выражаясь его языком, но немало и совсем другого – дикого буянства, зверской драчливости, площадной дерзости. Это был человек, который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюбленности, был упоен собой, уверен в себе до такой степени, что однажды вполне простодушно напечатал свой рассказ о том, как он был у Толстого, как читал ему свои стихи и как Толстой помирал со смеху, качаясь в качалке: ничуть не смущенный этим смехом, Бальмонт закончил свой рассказ так:

– Старик ловко притворился, что ему мои стихи не нравятся!

С необыкновенной наивностью рассказывал он немало и другого. Например, о том, как посетил он Метерлинка:

– Художественный театр готовился ставить «Синюю птицу» и просил меня, ехавшего как раз тогда за границу, заехать к Метерлинку, спросить его, как он сам мыслит постановку своего создания. Я с удовольствием согласился, но у Метерлинка ожидало меня нечто весьма странное. Во-первых, звонил я в его жилище чуть не целый час, во-вторых, когда, наконец, дозволился, мне отворила какая-то мегера, загородившая мне порог своей особой. И в-третьих, когда я все-таки эту преграду преступил, то предо мной оказалась такая картина: пустая комната, посреди – всего один стул, возле стула стоит Метерлинк, а на стуле сидит толстая собака. Я кланяюсь, называю себя, в полной уверенности, что мое имя небезызвестно хозяину. Но

Метерлинк молчит, молча глядит на меня, а подлая собака начинает рычать. Во мне закипает страстное желание сбросить это чудовище со стула на пол и отчитать хозяина за его неучтивость. Но, сдержав свой гнев, я излагаю причину своего визита. Метерлинк молчит по-прежнему, а собака начинает уже захлебываться от рычания. «Будьте же добры, – говорю я тогда достаточно резко, – соблаговолите мне сказать, что вы думаете о постановке вашего создания?» И он наконец отверзает уста: «Ровно ничего не думаю. До свиданья». Я выскочил от него со стремительностью пули и с бешенством разъяренного демона...

Рассказывал свое приключение на мысе Доброй Надежды:

– Когда наш корабль, – Бальмонт никогда не мог сказать «пароход», – бросил якорь в гавани, я сошел на сушу и углубился в страну, – тут Бальмонт опять-таки не мог сказать, что он просто вышел за город, – я увидел род вигвама, заглянул в него и увидел в нем старуху, но все же прельстительную своей старостью и безобразием, тотчас пожелал осуществить свою близость с ней, но, вероятно, потому что я, владеющий многими языками мира, не владею языком «зулю», эта ведьма кинулась на меня с толстой палкой, и я принужден был спастись бегством...

«Я, владеющий многими языками мира...» Не один Бальмонт так бессовестно лгал о своем знании языков. Лгал, например, и Брюсов. <...> Не отставал от него и его соратник по издательству «Скорпион» С. А. Поляков: его сотрудник М. Н. Семенов рассказал недавно в газете «Русская мысль», что этот Поляков «знал все европейские языки и около дюжины восточных...». Вы только подумайте: все европейские языки и около дюжины восточных! Что до Бальмонта, то он «владел многими языками мира» очень плохо, даже самый простой разговор по-французски был ему труден. Однажды в Париже, в годы эмиграции, он встретился у меня с моим литературным агентом, американцем Брэдлеем, и когда Брэдлей заговорил с ним по-английски, покраснел, смешался, перешел на французский язык, но и по-французски путался, делал грубые ошибки... Как же все-таки сделал он столько переводов с разных языков, даже с грузинского, с армянского? Вероятно, не раз с подстрочников. А до чего

на свой лад, о том и говорить нечего. Вот, например, сонет Шелли, вот его первая строчка, – очень несложная: в пустыне, в песках, лежит великая статуя, – только и всего сказал о ней Шелли; а Бальмонт? «В нагих песках, где вечность сторожит пустыни тишину...» Что же до незнания «языка зулю», проще говоря, зулусского, и печальных последствий этого незнания, то бывало множество столь же печальных последствий и в других случаях, когда Бальмонт говорил на языках, ему более или менее известных, только тут уже в силу пристрастия Бальмонта к восклицаниям: знаю, как нещадно били его – и не раз – лондонские полицейские в силу этого пристрастия, как однажды били его ночью полицейские в Париже, потому что шел он с какой-то дамой позади двух полицейских и так бешено кричал на даму, ударяя на слово «ваш» («ваш хитрый взор, ваш лукавый ум!»), что полицейские решили, что это он кричит на них на парижском жаргоне воров и апашей, где слово «vache» (корова) употребляется как чрезвычайно оскорбительная кличка полицейских, еще более глупая, чем та, которой оскорбляли их в России: «фараон». А при мне было однажды с Бальмонтом такое: мы гостили с ним летом под Одессой, в немецком поселке на берегу моря, пошли как-то втроем – он, писатель Федоров и я – купаться, разделись и уже хотели идти в воду, но тут, на беду, вылез из воды на берег брат Федорова, огромный мужик, босяк из одесского порта, вечный острожник, и, увидав его, Бальмонт почему-то впал в трагическую ярость, кинулся к нему, театрально заорал: «Дикарь, я вызываю тебя на бой!» – а «дикарь»; лениво смерил его тусклым взглядом, сгреб в охапку своими страшными лапами и запустил в колючие прибрежные заросли, из которых Бальмонт вылез весь окровавленный...

Удивительный он был вообще человек, – человек, за всю свою долгую жизнь не сказавший ни единого словечка в простоте, называвший в стихах даже тайные прелести своих возлюбленных на редкость скверно: «Зачарованный Грот».

И еще: при всем этом был он довольно расчетливый человек. Когда-то в журнале Брюсова, в «Весах», называл меня, в угоду Брюсову, «малым ручейком, способным лишь журчать».

Позднее, когда времена изменились, стал вдруг милостив ко мне, – сказал, прочитав мой рассказ «Господин из Сан-Франциско»:

– Бунин, у вас есть чувство корабля!

А еще позднее, в мои нобелевские дни, сравнил меня на одном собрании в Париже уже не с ручейком, а

со львом: прочел сонет в мою честь, в котором, конечно, и себя не забыл, – начал сонет так:

Я тигр, ты – лев!

Расчетлив он был и политически.

В Москве в 1930 году издавалась «Литературная энциклопедия», и вот что сказано о нем в первом томе этой энциклопедии:

«Бальмонт – один из вождей русского символизма... По окончании гимназии поступил в Московский университет, откуда был исключен за участие в студенческом движении. Но общественные интересы его очень скоро уступили место эстетизму и индивидуализму. Короткий рецидив революционных настроений в 1905 году и затем издание в Париже сборника революционных стихотворений «Песни мстителя» превратили Бальмонта в политического эмигранта. В Россию вернулся в 1913 году после царского манифеста. На империалистическую войну откликнулся шовинистически. Но в 1920 году опубликовал в журнале Наркомпроса стихотворение «Предвозвещенное», восторженно приветствуя Октябрьскую революцию. Выехав по командировке Советского правительства за границу, перешел в лагерь белогвардейской эмиграции. Сменив свое преклонение перед гармоническим пантеизмом Шелли на преклонение перед извращенно-демоническим Бодлером, «пожелал стать певцом страстей и преступления», как сказал о нем Брюсов. В сонете «Уродь» прославил «кривые кактусы, побегι белены и змей и ящериц отверженные роды, чуму, проказу, тьму, убийство и беду, Гоморру и Содом», восторженно приветствовал, как «брата», Нерона...» Не знаю, что такое «Предвозвещенное», которым, без сомнения, столь же «восторженно», как «чуму, прока-

зу, тьму, убийство и беду», встретил Бальмонт большевиков, но знаю кое-что из того, чем встретил он 1905 год, что напечатал осенью того года в большевистской газете «Новая жизнь», – например, такие строки:

Кто не верит в победу сознательных, смелых рабочих,
Тот бесчестный, тот шулер, ведет он двойную игру!

Это так глупо и грубо в смысле подхалимства, что, кажется, дальше идти некуда: почему «бесчестный», почему «шулер» и какую такую «ведет он двойную игру»? Но это еще цветочки; а вот в «Песнях мстителя» уже ягоды, такое, чему просто имени нет: тут в стихах под Заглавием «Русскому офицеру», написанных по поводу разгрома московского восстания в конце 1905 года, можно прочесть следующее:

Грубый солдат! Ты еще не постиг,
Кому же ты служишь лакеем?
Ты сопричислился, – о, не на миг! –
К подлым, к бесчестным, к злодеям!
Я тебя видел в расцвете души,
Встречал тебя вольно красивым.
Низкий. Как пал ты! В трясине! в глуши!
Труп ты – во гробе червивом!
Кровью ты залил свой жалкий мундир,
Душою ты в пропасти темной.
Проклят ты. Проклят тобою весь мир.
Нечисть! Убийца наемный!

Но и этого мало: дальше идут «песни» о царе:

Наш царь – убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь – висельник...
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждет!
Ты был ничтожный человек,
Теперь ты грязный зверь!
Царь губошлепствует...
О мерзость мерзостей! Распад, зловонье гноя,

Нарыв уже набух и, пухлый, ждет ножа.
Тесней, товарищи, сплотимтесь все для боя,
Ухватим этого колючего ежа!
Царь наш весь мерзостный, с лисьим хвостом,
С пастью, приличною волку,
К миру людей привыкает – притом
Грабит весь мир втихомолку,
Грабит, кощунствует, ежится, лжет,
Жалко скулит, как щенята!
Ты карлик, ты Кощей, ты грязью, кровью пьяный,
Ты должен быть убит!

Все это было напечатано в 1907 году в Париже, куда Бальмонт бежал после разгрома московского восстания и ничуть не помешало ему вполне безопасно вернуться в Россию. А Гржебин, начавший еще до восстания издавать в Петербурге иллюстрированный сатирический журнал, первый выпуск его украсив обложкой с нарисованным на ней во всю страницу голым человеческим задом под императорской короной, даже и не бежал никуда, и никто его и пальцем не тронул... <...>

В конце девяностых годов еще не пришел, но уже чувствовался «большой ветер из пустыни». И был он уже тлетворен в России для той «новой» литературы, что как-то вдруг пришла на смену прежней. Новые люди этой новой литературы уже выходили тогда в первые ряды ее и были удивительно не схожи ни в чем с прежними, еще столь недавними «властителями дум и чувств», как тогда выражались. Некоторые прежние еще властвовали, но число их приверженцев все уменьшалось, а слава новых все росла. Аким Вольтинский, видно, недаром объявил тогда: «Народилась в мире новая мозговая линия!» И чуть не все из тех новых, что были во главе нового, от Горького до Сологуба, были люди от природы одаренные, наделенные редкой энергией, большими силами и большими способностями. Но вот что чрезвычайно знаменательно для тех дней, когда уже близится «ветер из пустыни»: силы и способности почти всех новаторов были довольно низкого качества, порочны от природы, смешаны с пошлым, лживым, спекулятивным, с угодничеством улице, с бесстыдной жадой успехов, скандалов... <...>

<Одесский дневник>

«Ксения», 18 октября 1905 года.

Жил в Ялте, в Аутке, в чеховском опустевшем доме, теперь всегда тихом и грустном, гостил у Марьи Павловны. Дни все время стояли серенькие, осенние, жизнь наша с М<арьей> П<авловной> и мамашей (Евгенией Яковлевной) текла так ровно, однообразно, что это много способствовало тому неожиданному резкому впечатлению, которое поразило нас всех вчера перед вечером, вдруг зазвонил из кабинета Антона Павловича телефон, и, когда я вошел туда и взял трубку, Софья Павловна стала кричать мне в нее, что в России революция, всеобщая забастовка, остановились железные дороги, не действуют телеграф и почта, государь уже в Германии – Вильгельм прислал за ним броненосец. Тотчас пошел в город – какие-то жуткие сумерки и везде волнения, кучки народа, быстрые и таинственные разговоры – все говорят почти то же самое, что Софья Павловна. Вчера стало известно, уже точно, что действительно в России всеобщая забастовка, поезда не ходят... Не получили ни газет, ни писем, почта и телеграф закрыты. Меня охватил просто ужас застрять в Ялте, быть ото всего отрезанным. Ходил на пристань – слава богу, завтра идет пароход в Одессу, решил ехать туда.

Нынче от волнения проснулся в пять часов, в восемь уехал на пристань. Идет «Ксения». На душе тяжесть, тревога. Погода серая, неприятная. Возле Ай-Тодора выглянуло солнце, озарило всю гряду гор от Ай-Петри до Байдарских Ворот. Цвет изумительный, серый с розово-сизым оттенком. После завтрака задремал, на душе стало легче и веселее. В Севастополе сейчас сбежал с парохода и побежал в город. Купил «Крымский вестник», с жадностью стал просматривать возле памятника Нахичевану. И вдруг слышу голос стоящего рядом со мной бородатого жандарма, который говорит кому-то в штатском, что выпущен манифест свободы слова, союзов и вообще всех «свобод». Взволновался до дрожи рук, пошел повсюду искать телеграммы, нигде не нашел и поехал в «Крымский вестник». Возле редакции несколько человек чего-то ждут. В кабинете редактора

(Шапиро) прочел, наконец, манифест! Какой-то жуткий восторг, чувство великого события.

Сейчас ночью (в пути в Одессу) долгий разговор с вахтенным на носу. Совсем интеллигентный человек, только с сильным малороссийским акцентом. Настроен крайне революционно, речь все время тихая, твердая, угрожающая. Говорит, не оборачиваясь, глядя в темную равнину бегущего навстречу моря.

Одесса 19 октября.

Возле Тарханкута, как всегда, стало покачивать. Разделся и лег, волны уже дерут по стене, опускаются все ниже. Качка мне всегда приятна, тут было особенно – как-то это сливалось с моей внутренней взволнованностью. Почти не спал, все возбужденно думал, в шестом часу отдернул занавеску на иллюминаторе: неприязненно светает, под иллюминатором горами ходит зеленая холодная вода, из-за этих гор – рубин маяка Большого Фонтана. Краски серо-фиолетовые; рассвет и эти зеленые горы воды и рубин маяка. Качает так, что порой совсем кладет.

Пристали около восьми, утро сырое, дождливое, с противным ветром. В тесноте, в толпе, в ожидании схода, узнаю от носильщиков, кавказца и хохла, что на Дальницкой убили несколько человек евреев, – убили будто бы переодетые полицейские, за то, что евреи будто бы топтали царский портрет. Очень скверное чувство, но не придаю особого значения этому слуху, может, и ложному. Приехал в Петербургскую гостиницу, увидел во дворе солдат.

Спросил швейцара: «Почему солдаты?» Он только смутно усмехнулся. Поспешно напился кофию и вышел. Небольшой дождь, сквозь туман сияние солнца – и все везде пусто: лавки заперты, нет извозчиков. Прошел, ища телеграммы, по Дерibasовской. Нашел только «Ведомости градоначальства». Воззвание градоначальника, – призывает к спокойствию. Там и сям толпится народ. Очень волнуясь, пошел в редакцию «Южного обозрения». Тесное помещение редакции набито евреями с гру-

стными серьезными лицами. К стене прислонен большой венок с красными лентами, на которых надпись: «Павшим за свободу». Зак, Ланде (Изгоев). Он говорит: «Последние дни наши пришли». – «Почему?» – «Подымается из порта патриотическая манифестация. Вы на похороны пойдете?» – «Да ведь могут голову проломить?» – «Могут. Понесут по Преображенской».

Пока пошел к Нилусу. Вдоль решетки городского сада висят черные флаги. С Нилусом пошел к Куровским. Куровский (который служит в городской управе) говорит, что было собрание гласных думы вместе с публикой и единогласно решили поднять на думе красный флаг. Флаг подняли, затем потребовали похоронить «павших за свободу» на Соборной площади, на что дума опять согласилась.

Когда вышел с Куровским и Нилусом, нас тотчас встретил один знакомый, который предупредил, что в конце Преображенской национальная манифестация уже идет, и босяки, представшие к ней, бьют кого попало. В самом деле, навстречу в панике бежит народ.

В три часа после завтрака у Буковецкого узнали, грабят Новый базар. Уже образована милиция, всюду санитары, пальба... Как в осаде, просидели до вечера у Буковецкого. Пальба шла до ночи и всю ночь. Всюду грабят еврейские магазины и дома, евреи будто бы стреляют из окон, а солдаты залпами стреляют в их окна. Перед вечером мимо нас бежали по улице какие-то люди, за ними бежали и стреляли в них «милиционерь». Некоторые вели арестованных. На извозчике везли раненых. Особенно страшен был сидевший на дне пролетки, завалившийся боком на сиденье, голый студент – оборванный совсем догола, в студенческой фуражке, набекрень надетой на замотанную окровавленными тряпками голову.

20 октября.

Ушел от Буковецкого рано утром. Сыро, туманно. Идут кухарки, несут провизию, говорят, что теперь все везде спокойно. Но к полудню, когда мы с Куровским хотели пойти в город, улицы опять опустели. С моря повсюду плывет густой туман.

Возле дома Городского музея, где живет Куровский, – он хранитель этого музея, – в конце Софийской улицы поставили пулемет и весь день стучали из него вниз по скату, то отрывисто, то без перерыва. Страшно было выходить. Вечером ружейная пальба и стучащая работа пулеметов усилилась так, что казалось, что в городе настоящая битва. К ночи наступила гробовая тишина, пустота. Дом музея – большой трехэтажный – стоит на обрыве над портом. Мы поднимались днем на чердак и видели оттуда, как громили в порту какой-то дом. Вечером нам пришлось в голову, что, может быть, придется спасаться, и мы ходили в огромное подземелье, которое находится под музеем. Потом опять ходили на чердак, смотрели в слуховое окно, слушали: туман, влажные силуэты темных крыш, влажный ветер с моря и где-то вдали, то в одной, то в другой стороне, то поднимающаяся, то затихающая пальба.

21 октября.

Отвратительный номер «Ведомостей одесского градоначальства».

В городе пусто, только санитары и извозчики с ранеными. Везде висят национальные флаги.

В сумерки глядели из окон на зарево – в городе начальство приказало зажечь иллюминацию. Зарево и выстрелы.

22 октября.

От Буковецкого поехал утром в Петербургскую гостиницу. Извозчик говорил, что на Молдаванке евреев «аж на куски режут». Качал головой, жалел, что режут многих безвинно-напрасно, негодовал на казаков, матерно ругался. Так все эти дни: все время у народа негодование на «зверей казаков» и злоба на евреев.

Солнце, влажно пахнет морем и каменным углем, прохладно.

В полдень пошел к Куровскому, – город ожил, принял совсем обычный вид: идут конки, едут извозчики...

Часа в три забежала к кухарке Куровских какая-то знакомая ей баба, сообщила, что видела собственными глазами: идут на Одессу парубки и дядьки с дрючками, с косами; будто бы приходили к ним нынче утром, – ходили по деревням и по Молдаванке – «политики» и сзывали делать революцию. Идут будто и с хуторов, все с той же целью – громить город, но не евреев только, а всех.

Куровский говорит, что видел, как ехал по Преображенской целый фургон солдат с ружьями, – возле гостиницы «Империаль» они увидали кого-то в окне, остановили фургон и дали залп, по всему фасаду.

– Я спросил: «По ком это вы?» – «На всякий случай».

Говорят, что нынче будет какая-то особенная служба в церквах – «о смягчении сердец».

Был художник Заузе и скульптор Эдварс. Говорили:

– Да, с хуторов идут...

– На Молдаванке прошлой ночью били евреев нещадно, зверски...

По Троицкой только что прошла толпа с портретом царя и национальными флагами. Остановились на углу, «ура», затем стали громить магазины. Вскоре приехали казаки – и проехали мимо, с улыбками. Потом прошел отряд солдат – и тоже мимо, улыбаясь.

«Ожное обозрение» разнесено вдребезги, – оттуда стреляли...

Заузе рассказывал: ехал вчера на конке по Ришельевской. Навстречу толпа громил, кричат: «Встать, ура государю императору!» И все в конке поднимаются и отвечают: «Ура!» – сзади спокойно идет взвод солдат.

Много убито милиционеров. Санитары стреляют в казаков, и казаки убивают их.

Куровский говорит, что восемнадцатого полиция снята во всем городе «по требованию населения», то есть думой по требованию ворвавшейся в управу тысячной толпы.

В городе говорят, что на Слободке Романовке «почти не осталось жидов!».

Эдварс говорил, что убито тысяч десять.

Поезда все еще не ходят. Уеду с первым отходящим.

Сумерки. Была сестра милосердия, рассказывала, что на Слободке Романовке детей убивали головами об стелу; солдаты и казаки бездействовали, только изредка стреляли в воздух. В городе говорят, что градоначальник запретил принимать депешу думы в Петербург о том, что происходит. Это подтверждает и Андреевский (городской голова).

Уточкин, – знаменитый спортсмен, – при смерти; увидал на Николаевском бульваре, как босяки били какого-то старика-еврея, кинулся вырывать его у них из рук... «Вдруг точно ветерком пахнуло в живот». Это его собственное выражение. Подкололи его «под самое сердце».

Вечер. Кухарка Куровских ахает, жалеет евреев, говорит: «Теперь уже все их жалеют. Я сама видела – привезли их целые две платформы, положили в степу – от несчастные, господи! Трусятся, позамерзли. Их сами казаки провожали, везли у приют, кормили хлебом, очень жалели...»

Русь, Русь!

Записная книжка

«Ходит ветер и возвращается на круги свои...» ...Итак, снова торжественные заседания, высокие речи, декларации, резолюции – и все именем России, «именем народа»... «А там, во глубине России...» Снова пробегаю отрывки воспоминаний о лете и осени 1917 года, проведенных мною в деревне, среди подлинной, а не выдуманной нами народной жизни...

...Летние сумерки, на деревенской улице сидит возле избы кучка мужиков и ведет, в связи с слухами об Учредительном собрании, речь о «бабушке русской революции», о Брешко-Брешковской. Хозяин избы размеренно; рассказывает:

– Я про эту бабку давно слышу. Прозорливица, это правильно. За пятнадцать лет, говорят, все эти дела предсказала. Ну только, избавь бог, до чего страшна: толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные, – я ее портрет в фельетоне видел. Сорок два года в остроге на чеши держали, а уморить не могли, ни днем ни ночью не отходили, а не устерегли: в остроге и то ухитрилась миллион нажить. Теперь народ под свою власть скупает, землю сулит, на войну обещает не брать. А мне какая корысть под нее идти? Земля эта мне без надобности, я ее лучше в аренду сниму, потому что навозить мне ее все равно не чем, а в солдаты-то меня и так не возьмут, года вышли...

Кто-то, белеющий в сумраке рубашкой, «краса и гордость русской революции», как оказывается потом, дерзко вмешивается:

– У нас такого провокатора в пять минут арестовали бы и расстреляли!

Но тот, кто говорит о «бабушке», возражает спокойно и твердо:

– А ты хоть и матрос, а дурак. Я тебе в отцы гожусь, ты возле моей избы без порток бегал. Какой же ты комиссар, когда от тебя девкам проходу нету, среди белого дня лезешь? погоди, погоди, брат, – вот протрешь казенные портки, пропьешь наворованные деньжонки, опять в пастухи запрочишься! Опять, брат, будешь мою свинью арестовывать! Это тебе не над

господами измываться. Я-то тебя с твоим Жучковым (Гучковым) не боюсь!

А третий прибавляет совершенно, как говорится, ни к селу ни к городу, но, несомненно, не весьма патриотически:

– Да его, Петроград-то, и так давно бы надо отдать. Там одно разнообразие...

И я прохожу мимо и думаю, вздергивая плечами: «Там одно разнообразие! Бог мой, что за чепуха такая!» Девки (социалистки) визжат на выгоне:

Люби белых, кудреватых,
При серебряных часах.

Из-под горы, слышно, идет толпа ребят с гармониями и балалайкой:

Мы, ребята, ежики,
В голенищах ножики,
Любим выпить, закусить,
В пьяном виде пофорсить...

В голове у меня туман от прочитанных за день газет, от речей, призывов и восклицаний всех этих смехотворных и жутких Керенских. И я думаю: «Нет, большевики-то поумнее будут! Они недаром все нагеляют и нагеляют. Они знают свою публику»...

...Мрачный сентябрьский вечер, тучи на западе с желтоватыми щелями, от которых тучи кажутся еще темнее. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно и зловеще рдеют, хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно.

Караульщик, он же и сапожник, курносый, с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке, в рубахе навыпуск и в жилетке, из карманчика которой торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, он встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом протягивает мне руку.

– Как поживаешь, Алексей?

Вздыхает:

– Скушно.

– Что такое?

– Да так. Нехорошо. Ах, милый барин. Нехорошо. Скушно.

– Да почему?

– Да так. Был я вчера в городе. Прежде, бывало, едешь на свободе, а теперь хлеб с собой берешь, в городе голод пошел. Голод, голод. Товару не дали. Товару нету. Ни почему нету. Приказчик говорит: «Хлеба дадите, тогда и товару дадим». А я ему так: «Нет, уж вы ешьте кожу, а мы свой хлеб будем есть». Только сказать – до чего дошло. Подметка четырнадцать рублей! Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу – будут буржуазию резать, ах, будут!

Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед, – очень пьяный, – и на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами дякона. Увидав меня, с размаху откидывается назад и останавливается:

– А вы его не можете ругать. Вам за это, за духовное лицо, язык на паяло надо вытянуть.

– Но позволь: я, во-первых, молчу, а во-вторых, почему тебе можно, а мне нельзя?

– А кто ж вас хоронить будет, когда вы помрете? Не диакон разве?

– А тебя?

Уронив голову и подумав, мрачно:

– Он мне, собака, керосину в лавке кооперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уж взял. А если я еще хочу? «Нет такого закону». Хорош ай нет? Его за арестовать, собаку, надо. Теперь никакого закону нет. –

Погоди, погоди, – обращается он к караульщику, – и тебе попадет! Я тебе припомню эти подметки! Как петуха зарежу, – дай срок!

...Октябрь. Пошли плакаты, митинги, призывы.

– Граждане! Товарищи! Осуществляйте свой великий долг перед Учредительным собранием, заветной мечтой вашей, державным хозяином земли русской! Все голосуйте за список № 3!

Мужики, слышавшие эти призывы в городе, говорили дома:

– Ну и пес! Долги, кричит, за вами есть великие! Голосить, говорит, все будете, все, значит, ваше имущество опишут перед Учредительным собранием! А кому мы должны? Ему, что ли, глаза его накройся? Нет, это новое начальство совсем никуда! В товарищи заманивает, горы золотые обещает, а сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать. Ну, да постой, дай срок: кабы не пришлось голосить-то тебе самому в три голоса!

Сидим, толкуем по этому поводу с бывшим старостой, не богатым, середняком, но справным хозяином. Он говорит:

– Да, известно, орут, долгами, недоимками пугают. Все это... как его? Теперь царя нету. Теперь вот будем учредительную думу собирать, будем, говорят, кандидата выбирать. Мы, есть слух, будем кандрак составлять, мы будем осуждать, а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он, будто, у нас должен теперь успроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я отроду за Ельцом никогда не был. Мы вон свою дорогу под городой двадцать лет дерьмом завалить не можем, как сойдемся – драка на три дня, потом три ведра водки слопаем и разойдемся, а буерак так и останется. Опять же и войну открыть против какого другого царя я не могу, я не знаю: а может, он хороший человек? А без нас, говорят, нельзя. Только за што ж за это кинжал в бок вставлять? Это бог с ним, и с жалованьем, в этой думе!

– Да то-то и дело, – говорю я, – что жалованье-то хорошее.

– Ну? Хорошее?

– Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда.

Думает. Потом, вздохнув:

– Меня туда не допустят, я большевик: у меня три десятины земли купленные, две лошади хорошие...

– Ну вот, кому же, как не тебе, и быть там? Ты хозяин.

– Конечно. Я хозяин настоящий.

Подумав и оживляясь все более:

– Да! Это было бы дело! Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство вспомнил. Я бы не дал у своих господ землю отбирать. А то он, депутат-то этот, себе нажать ничего не мог, а у людей черт его несет отымать самохватом. Вон у нас выбрали на село, в волость, а какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету, глаза пьяные, так и дышит огнем вонючим. Что он там может сказать? Орет, а у самого и имения-то одна курица! Ему дай хоть сто десятин, опять через два дни «моряком» будет. Разве его можно со мной сменить? Копал, копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая, и читать ничего не может, не умеет, – какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю...

Беседует со мной об Учредительном собрании и Пантюшка, самый страстный во всей нашей деревне революционер. Этот – ярый защитник Учредительного собрания. Но и он говорит очень странные вещи. Он говорит мне:

– Я, товарищ, сам социал-демократ, три года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал, одного «Сатирикону» небось тысячу номеров через мои руки прошло, а все-таки прямо скажу: какой он, черт, – министр, хоть Гвоздев-то этот самый? Я сер, а он-то много белее меня? Воротится, не хуже меня, в деревню – и опять мы с ним одного сукна с онучей. Я вот лезу к вам нахрапом: «товарищ, товарищ», а, по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый, с вами самый первый князь за сто может сесть, по вашему дворянству... Я и то мужикам говорю: ой, ребята, не промахнитесь! Уж кого, говорю, выбирать в это Учредительное собрание, так уж понятно товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся, и пролезть он там может куда угодно...

Серый ненастный день, конец октября. Пробираюсь по грязной деревенской улице, вхожу в сенцы, в избу. Старуха лежит на печи, солдатка, ее невестка, спит на нарах. Старик на конике плетет лапоть. Сумрак, вонь, на полу под ногами чмокает

мокрая и гниющая солома. Такие будни, такая глушь и тишина, точно я в шестнадцатом столетии, а не в бурную эпоху «великой российской революции», перед выборами в «великое Учредительное собрание». Сев на лавку, закурив, говорю, шутя:

– Что ж, старуха, к выборам-то готовишься? Ведь предвыборная кампания, собственно, уже началась.

Отвечает довольно злобно:

– К каким это выборам? Какая я тебе кампания?

– Да ведь я тебе уж десять раз рассказывал. Вот к таким-то и к таким-то.

Помолчав, старуха отвечает твердо, непреклонно, с той свободой грубости, которая позволительна в силу вашей старой дружбы, и приблизительно в таких выражениях:

– Понимаю, что шутишь. Только чтоб тебе подеялось за эти шутки. Никакая баба, кроме любопытных дур девок, которым лишь бы придирка была нарядиться для сборища, да кроме самых непутящих баб, не пойдет на этот срам. Громом их сожги, эти выборы. Спихнули такие-то, как ты, забубенные господа да беглые солдаты царя, – вот увидишь, что теперь будет! И теперь хорошо, а то ли еще будет! То ли еще будет! Увидишь!

– А ты, старик?

Но и старик отвечает очень твердо:

– Меня, батюшка, на аркане туда не притащишь, там мне старую голову проломают, если я не туда, куда хочется им, этот квиток пожелаю просунуть. Пропала, батюшка, Россия, помани мое слово, пропала. Мы не можем.

– Что не можем?

– Не можем себе волю давать. Взять хоть меня такого-то. Ты не смотри, что я такой смирный. Я хорош, добёр, когда мне воли не дано. А то я первым разбойником, первым разорителем, первым вором окажусь. Недаром пословица говорится: «Своя воля хуже неволи». Нет, батюшка, умру, а не пойду. Главная вещь – голову проломают ребята.

Солдатка проснулась, раскрыла ясные глаза, сыта сном, чуть улыбается, тянется, чувствуя, что я смотрю на нее.

– А ты пойдешь?

– Вона! Обязательно! Я Кабелька не боюсь...

Какого Кабелька, что за Кабелек? А это бушевал на нашей деревне все лето и всю осень семнадцатого года один из этих беглых солдат, о которых говорила старуха. Целый день пьян и целый день бегаёт по деревне. Увидит меня – и ко мне: «Табак!» – «Да ведь у тебя есть». – «Турецкого давай, турецкий слаже!» Увидал, что в церковной ограде народ собрался возле двух приехавших из города девиц, производящих, во исполнение приказания какого-то нового министра из нашего брата, «забубенных господ», какую-то перепись, – сейчас туда: подбежал, стол ногой к черту, вверх тормашками, на девиц с кулаками, на мужиков – тоже, орёт неистовым голосом: «Долой, так-то и так вас! Расходись! Не дозволю! Подо что подписываетесь? Под крепостное право подписываетесь? Перебью всех – скройся все с глаз моих!» И так все лето, всю осень. Все разгоняет. Разогнал даже выборы от мирян и духовенства на церковный собор: «Долой, расходись! Вот мой брат с фронта придет – он вам всю эту новую службу по церквам сам установит!»

Пять раз за лето сельский сход собирали, хотели «окоротить немножко» – и пять раз напрасно: боятся «окоротить» – сожжет всю деревню...

Нобелевские дни

Девятого ноября 1933 года, старый добрый Прованс, старый добрый Грасс, где я почти безвыездно провел целых десять лет жизни, тихий, теплый, серенький день поздней осени...

Такие дни никогда не располагают меня к работе. Все же, как всегда, я с утра за письменным столом. Сажусь за него и после завтрака. Но, поглядев в окно и видя, что собирается дождь, чувствую: нет, не могу. Нынче в синема дневное представление – пойду в синема.

Спускаясь с горы, на которой стоит «Бельведер», в город, гляжу на далекие Канны, на чуть видимое в такие дни море, на туманные хребты Эстереля и ловлю себя на мысли:

– Может быть, как раз сейчас, где-то там, на другом краю Европы, решается и моя судьба...

В синема я, однако, опять забываю о Стокгольме.

Когда, после антракта, начинается какая-то веселая глупость под названием «Бэби», смотрю на экран с особенным интересом: играет хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Но вот в темноте возле меня какой-то осторожный шум, потом свет ручного фонарика, и кто-то трогает меня за плечо и торжественно и взволнованно говорит вполголоса:

– Телефон из Стокгольма...

И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь.

Домой я иду довольно быстро, но не испытывая ничего, кроме сожаления, что не удалось досмотреть, как будет играть Киса дальше, и какого-то безразличного недоверия к тому, что мне сообщили. Но нет, не верить нельзя: издали видно, что мой всегда тихий и полутемный в эту пору дом, затерянный среди пустынных оливковых садов, покрывающих горные скаты над Грассом, ярко освещен сверху донизу. И сердце у меня сжимается какою-то грустью... Какой-то перелом в моей жизни...

Весь вечер «Бельведер» полон звоном телефона, из которого что-то отдаленно кричат мне какие-то разноязычные люди чуть не из всех столиц Европы, оглашается звонками почтальонов,

приносящих все новые и новые приветственные телеграммы чуть не из всех стран мира, — отовсюду, кроме России! — и выдерживает первые натиски посетителей всякого рода, фотографов и журналистов... Посетители, число которых все возрастает, так что лица их все больше сливаются передо мною, со всех сторон жмут мне руки, волнуясь и поспешно говоря одно и то же, фотографии ослепляют меня магнием, чтобы потом разнести по всему свету изображение какого-то бледного безумца, журналисты наперебой засыпают меня допросами...

— Как давно вы из России?

— Эмигрант с начала двадцатого года.

— Думаете ли вы теперь туда возвратиться?

— Бог мой, почему же я теперь могу туда возвратиться?

— Правда ли, что вы первый русский писатель, которому присуждена Нобелевская премия за все время ее существования?

— Правда.

— Правда ли, что ее когда-то предлагали Льву Толстому и что он от нее отказался?

— Неправда. Премия никогда никому не предлагается, все дело присуждения ее проходит всегда в глубочайшей тайне.

— Имели ли вы связи и знакомства в Шведской академии?

— Никогда и никаких.

— За какое именно ваше произведение присуждена вам премия?

— Думаю, что за совокупность всех моих произведений.

— Вы ожидали, что вам ее присудят?

— Я знал, что я давно в числе кандидатов, что моя кандидатура не раз выставлялась, читал многие лестные отзывы о моих произведениях таких известных скандинавских критиков, как Book, Osterling; Agrell, и, слыша об их причастности к Шведской академии, полагал, что они тоже расположены в мою пользу. Но, конечно, ни в чем не был уверен.

— Когда обычно происходит раздача Нобелевских премий?

— Ежегодно в одно и то же время: десятого декабря.

— Так что вы поедете в Стокгольм именно к этому сроку?

— Даже, может быть, раньше: хочется поскорее испытать удовольствие дальней дороги. Ведь по своей эмигрантской

бесправности, по той трудности, с которой нам, эмигрантам, приходится добывать визы, я уже тринадцать лет никуда не выезжал за границу, лишь один раз ездил в Англию. Это для меня, без конца ездившего когда-то по всему миру, было одно из самых больших лишений.

– Вы уже бывали в скандинавских странах?

– Нет, никогда. Совершал, повторяю, многие и далекие путешествия, но все к востоку и к югу, север же оставлял на будущее время...

Так неожиданно понесло меня тем стремительным потоком, который превратился вскоре даже в некоторое подобие сумасшедшего существования: ни единой свободной и спокойной минуты с утра до вечера. Наряду со всем тем обычным, что ежегодно происходит вокруг каждого нобелевского лауреата, со мной, в силу необычности моего положения, то есть моей принадлежности к той странной России, которая сейчас рассеяна по всему свету, происходило нечто такое, чего никогда не испытывал ни один лауреат в мире: решение Стокгольма стало для всей этой России, столь униженной и оскорбленной во всех своих чувствах, событием истинно национальным...

В ночь с третьего на четвертое декабря я уже далеко от Парижа. Норд-экспресс, отдельное купе первого класса – сколько уже лет не испытывал я чувств, связанных со всем этим! Далеко за полночь, мы уже в Германии. Все стою на площадке вагона, который идет в поезде последним. И, вырываясь из-под вагона, несется назад в бледном лунном свете нечто напоминающее Россию: плоские равнины, траурно-пестрые от снега, какие-то оснеженные деревья...

Утром Ганновер. Открываю глаза, поднимаю штору – окно во льду, замерзло. Лед и на рельсах. На людях, проходящих по платформе, меховые шапки, шубы – как давно не видал я всего этого и как, оказывается, живо хранил в сердце!

Вечером наш поезд ставят на пароход «Густав V» и медленно направляют к берегам Швеции. Снова интервью, снова вспышки магния... В Швеции мой вагон буквально осаждается толпой фотографов и журналистов... И только поздней ночью остаюсь я наконец опять один. За окнами чернота и белизна – сплошные черные леса в белых глубоких снегах. И все это, вместе с жарким теплом купе, совсем как ночи когда-то на Николаевской дороге...

Раздача премий лауреатам ежегодно происходит всегда десятого декабря и начинается ровно в пять часов вечера.

В этот день стук в дверь моей спальни раздается ране с вечера было приказано разбудить меня не позднее восьми с половиной. Вскакиваю и тотчас же вспоминаю, что за день нынче: день самый главный. На часах всего семь, северное утро едва брезжит, еще горят фонари набережной канала, видной из моих окон, и та часть Стокгольма, что над нею, передо мною, со всеми своими башнями, церквами и дворцами, тоже имеющая что-то очень схожее с Петербургом, еще так сказочно-красива, как бывает она только на закате и на рассвете. Но я должен начать день нынче рано: десятое декабря – дата смерти Альфреда Нобеля, и потому я с утра должен быть в цилиндре и ехать за город, на кладбище, где надо возложить венки и на его могилу, и на могилу недавно умершего племянника его, Эммануила Нобеля. Я опять вчера лег в три часа ночи и теперь, одеваясь, чувствую себя очень зыбко. Но кофе горячо и крепко, день наступает ясный, морозный, мысль о необычайной церемонии, которая ждет меня нынче вечером, возбуждает...

Официальное приглашение на торжество рассылается лауреатам за несколько дней до него. Оно составлено (на французском языке) в полном соответствии с той точностью, которой отличаются все шведские ритуалы:

«Господа лауреаты приглашаются прибыть в Концертный Зал для получения Нобелевских премий 10 декабря 1933 г., не

позднее 4 ч. 50 м. дня. Его величество, в сопровождении королевского дома и всего двора, пожалует в Зал, дабы присутствовать на торжестве и лично вручить каждому из них надлежащую премию, ровно в 5 ч., после чего двери Зала будут закрыты и начнется само торжество».

Ни опоздать хотя бы на одну минуту, ни прибыть хотя бы на две минуты раньше назначенного срока на какое-нибудь шведское приглашение совершенно недопустимо. Поэтому одеваться я начинаю чуть ли не с трех часов дня – из страха, как бы чего не случилось: а вдруг куда-нибудь исчезнет запонка фракной рубашки, как любят это делать в подобных случаях все запонки в мире?

В половине пятого мы едем.

Город в этот вечер особенно блещет огнями, – и в честь лауреатов, и в ознаменование близости Рождества и Нового года. К громадному «Музыкальному Дому», где всегда происходит торжество раздачи премий, течет столь густой и бесконечный поток автомобилей, что наш шофер, молодой гигант в мохнатой меховой шапке, с великим трудом пробирается в нем: нас спасает только то, что полиция, при виде кортежа лауреатов, которые всегда едут в таких случаях друг за другом, задерживает все прочие автомобили.

Мы, лауреаты, входим в «Музыкальный Дом», со всей прочей толпой, но в вестибюле нас тотчас от толпы отделяют и ведут куда-то по особым ходам, так что то, что происходит в парадном зале до нашего появления на эстраде, я знаю только с чужих слов.

Зал этот удивителен своей высотой, простором. Теперь он весь декорирован цветами и переполнен народом: сотни вечерних дамских нарядов в жемчугах и бриллиантах, сотни фраков, звезд, орденов, разноцветных лент и всех прочих торжественных отличий. В пять без десяти минут весь кабинет шведских министров, дипломатический корпус, Шведская академия, члены Нобелевского комитета и вся эта толпа приглашенных уже на местах и хранят глубокое молчание. Ровно в пять герольды с эстрады возвещают фанфарами появление монарха. Фанфары

уступают место прекрасным звукам национального гимна, льющемся откуда-то сверху, и монарх входит в сопровождении наследного принца и всех прочих членов королевского дома. За ним следуют свита и двор. Мы, четыре лауреата, находимся в это время все еще в той маленькой зале, что примыкает к заднему входу на эстраду.

Но вот и наш выход. С эстрады снова раздаются фанфары, и мы следуем за теми из шведских академиков, которые будут представлять нас и читать о нас рефераты. Я, которому назначено говорить свою речь на банкете после раздачи премий первым, теперь выхожу, по ритуалу, на эстраду последним. Меня выводит Пер Гальстром, неперменный секретарь Академии. Выйдя, я поражаюсь нарядностью, многолюдством, зала и тем, что при появлении с поклоном входящих лауреатов, встает не только весь зал, но и сам монарх со всем своим двором и домом.

Эстрада тоже громадна. Она украшена какими-то мелкими розовыми живыми цветами. Правую сторону ее занимают кресла академиков. Четыре кресла первого ряда налево предназначены для лауреатов. Надо всем этим торжественно-неподвижно свисают со стен полотнища шведского национального флага: обычно украшают эстраду флаги всех тех стран, к которым принадлежат лауреаты; но какой флаг имею я лично, эмигрант? Невозможность вывесить для меня флаг советский заставила организаторов торжества ограничиться ради меня одним, – шведским. Благородная мысль!

Открывает торжество председатель Нобелевского фонда. Он приветствует короля и лауреатов и предоставляет слово докладчику. Тот целиком посвящает это первое слово памяти Альфреда Нобеля, – в этом году столетие со дня его рождения. Затем идут доклады, посвященные характеристике каждого из лауреатов, и после каждого доклада лауреат приглашается докладчиком спуститься с эстрады и принять из рук короля папку с нобелевским дипломом и футляр с большой золотой медалью, на одной стороне которой выбито изображение Альфреда

Нобеля, а с другой имя лауреата. В антрактах играют Бетховена и Грига.

Григ один из наиболее любимых мною композиторов, я с особым наслаждением услышал его звуки перед докладом обо мне Пера Гальстрема.

Последняя минута меня взволновала. Речь Гальстрема была не только прекрасна, но и истинно сердечна. Кончив, он с милой церемонностью обратился ко мне по-французски:

– Иван Алексеевич Бунин, благоволите сойти в Зал и принять из рук его величества литературную Нобелевскую премию 1933 года, присужденную вам Шведской академией.

В наступившем вслед за тем глубоким молчании я медленно прошел по эстраде и медленно сошел по ее ступеням к королю, вставшему мне навстречу. Поднялся в это время и весь зал, затавив дыхание, чтобы слышать, что он мне скажет и что я ему отвечу. Он приветствовал меня и в моем лице всю русскую литературу с особенно милостивым и крепким рукопожатием. Низко склоняясь перед ним, я ответил по-французски:

– Государь, я прошу ваше величество соблаговолить принять выражение моей глубокой и почтительной благодарности.

Слова мои потонули в рукоплесканиях.

Король чествует лауреатов обедом в своем дворце на другой день после торжества раздачи премий. Вечером же десятого декабря, почти тотчас по окончании этого торжества, их везут на банкет, который им дает Нобелевский комитет.

На банкете председательствует кронпринц.

Когда мы приезжаем, там уже опять в сборе все члены Академии, весь королевский дом и двор, дипломатический корпус, художественный мир Стокгольма и прочие приглашенные.

К столу идут в первой паре кронпринц и моя жена, которая сидит потом рядом с ним в центре стола.

Мое место рядом с принцессой Ингрид, – ныне она датская королева, – напротив брата короля, принца Евгения (кстати сказать, известного шведского художника).

Кронпринц открывает застольные речи. Он говорит блестяще, посвящая слово памяти Альфреда Нобеля.

Затем наступает черед говорить лауреатам.

Принц говорит со своего места. Мы же с особой трибуны, которая устроена в глубине банкетной залы, тоже необыкновенно огромной, построенной в старинном шведском стиле.

Радиоприемник разносит наши слова с этой эстрады по всей Европе.

Вот точный текст той речи, которую произнес я по-французски:

– Ваше высочество, милостивые государыни, милостивые государи.

Девятого ноября, в далекой дали, в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме, телефон известил меня о решении Шведской академии. Я был бы неискренен, ежели бы сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление во всей моей жизни. Справедливо сказал великий философ, что чувства радости, даже самые резкие, почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая омрачить этот праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимое воспоминание, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанные мною за последние пятнадцать лет, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби, – совсем нет! Однако твердо могу сказать я и то, что из всех радостей моей писательской жизни это маленькое чудо современной техники, этот звонок телефона из Стокгольма в Грасс, дал мне, как писателю, наиболее полное удовлетворение. Литературная премия, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда! Честолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но думал ли я девятого ноября только о себе самом? Нет, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнение от потока первых поздравлений и телеграмм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской академии. Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я?

Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. Вне сомнения, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно, — она для него догмат, аксиома. Ваш же жест, господа члены Академии, еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящий национальный культ Швеции.

И еще несколько слов — для окончания этой небольшой речи. Я не с нынешнего дня высоко ценю ваш королевский дом, вашу страну, ваш народ, вашу литературу. Любовь к искусствам и к литературе всегда была традицией для шведского королевского дома, равно как и для всей благородной нации вашей. Основанная славным воином, шведская династия есть одна из самых славных в мире. Его величество король, король-рыцарь народа-рыцаря, да соизволит разрешить чужеземному, свободному писателю, удостоенному вниманием Шведской академии, выразить ему свои почтительнейшие и сердечнейшие чувства.

**<Письмо в редакцию газеты
«Последние новости»>**

Господин редактор!

Во избежание неверных слухов, уже распространяющихся в Париже о том, что случилось со мной в немецком пограничном со Швейцарией городе Линдау, и о моей болезни, явившейся последствием этого случая, позвольте изложить на столбцах Вашей газеты, что именно со мной было.

Три недели тому назад я выехал из Парижа с туристическими целями и для свиданий с моими немецкими, чешскими и итальянскими издателями и переводчиками по маршруту Париж – Лейпциг – Берлин – Прага – Мюнхен – Женева – Рим – Париж, купив в парижском агентстве Кука круговой билет первого класса и два аккредитива – на Германию и на Италию. Я пробыл неделю в Германии, затем 5 дней в Праге, где 23 октября публично читал свои художественные произведения, и снова поехал в Германию, направляясь в Швейцарию, ночевал по пути в Мюнхене и Нюрнберге, и вечером 26 октября прибыл в Линдау, где снова должен был ночевать, так как пароход, перевозящий путешественников по Боденскому озеру из Линдау в Романсгорн, в Швейцарию, отходил только на другой день в полдень. Переночевав в отеле Seegarten, я явился в одиннадцать часов утра в немецкую таможню, находящуюся у самой пристани. Там я предъявил надлежащим властям все, что полагается: свой эмигрантский паспорт, аккредитивы (из которых в немецком остался только один чек на 50 марок), те бумажные доллары, которые были со мной и любое количество которых я имел законное право ввозить и вывозить в Германии, и оставшиеся в моем кошельке 20 бумажных немецких марок с медной мелочью. Посмотрев все это, власти дали мне вместо бумажки в 20 марок соответствующую сумму серебром, а паспорт куда-то унесли и не возвращали с полчаса, когда же наконец возвратили, то скомандовали:

– Следуйте за этим господином!

Этот «господин» был довольно молодой человек преступного типа, в потертой штатской одежде, он быстро схватил меня

за рукав и повел куда-то по каменному сараю таможни, где всюду дул в раскрытые двери ледяной ветер дождливого дня, привел в какую-то каменную камеру и молча стал срывать с меня пальто, пиджак, жилет... От потрясающего изумления – что такое? за что? почему? – от чувства такого оскорбления, которого я не переживал еще никогда в жизни, от негодования и гнева я был близок не только к обмороку, но и к смерти от разрыва сердца, протестовал, не зная немецкого языка, только вопросительными восклицаниями – «что это значит? на основании чего?» – а «господин» молча, злобно, с крайней грубостью продолжал раздевать, разувать и обшаривать меня. Я стоял перед ним раздетый, разутый, – он сорвал с меня даже носки, – весь дрожал и стучал зубами от холода и дувшего в дверь сырого сквозняка, а он залезал пальцами в подкладку моей шляпы, местами отрывая ее, пытался отрывать даже подошвы моих ботинок... Через четверть часа, не найдя на мне, разумеется, ровно ничего преступного, он вывел меня назад. Пароход в эту минуту уже отходил, но мне очень насмешливо сказали: «Ничего, есть еще вечерний пароход!» – и отправили меня с конвоем и с тележкой, на которой вез мои вещи таможенный служащий, в какое-то огромное здание, – вероятно, арестный дом, ибо я видел в его коридорах множество дверей с номерами на них. Как рассказать дальнейшее? Мне казалось, что я в сумасшедшем доме, что это какой-то кошмар. Меня вели долго, через весь город, под проливным дождем. Когда же привели, *ровно три часа* осматривали каждую малейшую вещицу в моих чемоданах и в моем портфеле с такой жадностью, точно я был пойманный убийца, и все время осыпали меня кричащими вопросами, хотя я уже сто раз заявил, что не говорю и почти ничего не понимаю по-немецки. Каждый мой носовой платок, каждый носок был исследован и на ощупь и даже на свет; каждая бумажка, каждое письмо, каждая визитная карточка, каждая страница моих рукописей и книг, находившихся в моем портфеле, – все вызывало крик:

– Что это такое? Что здесь написано? Кем? И кто тот, кто это писал? Большевик? Большевик?

Некоторые письма и моя записная книжка с адресами были отложены в сторону, куда-то унесены и возвращены мне только в последнюю минуту. Пачка чешских газет, в которых были статьи обо мне и отчеты о моем вечере, вызвала особенную жадность: «А, чешские газеты! Почему они у вас?» Хотя в них были мои портреты с подписями «I. A. Bunin v Praze», «Vortrag Ivan Bunins in Prag» и т.д. Я пишу книгу о Толстом, в моем портфеле было несколько книг о нем; при виде его портретов в этих книгах плевали и топали ногами: «А, Толстой! Толстой!»

К четырем часам явилась какая-то довольно красивая дама с прозрачными, сверлящими и переливающимися глазами, сказала, что она говорит по-французски и потому «случайно» приглашена немцами помочь им в допросе меня, быстро потребовала, чтобы я, не думая ни секунды, написал «вот на этой бумажке» названия моих произведений в доказательство того, что я действительно писатель, быстро сказала, что кому-то известно, что я провел ночь в Линдау с одной женщиной и что я должен назвать имя этой женщины, задала мне еще два-три бесстыдных и нелепых вопроса и вдруг, после моего негодующего восклицания в ответ на все это, заявила, что я свободен.

Приехав ночью в Цюрих, я не спал до утра – меня так простудил раздевавший меня «господин», что у меня уже был кашель и жар: 38,5. Приехав в Женеву, я почувствовал себя совсем больным и, махнув рукой на продолжение своего путешествия, решил возвратиться в Париж.

То, что таможенные и полицейские власти в Линдау не придали никакого значения ни моему возрасту, ни моему званию писателя, почетного академика и нобелевского лауреата, я в какой-то мере понимаю: они не обязаны ни с чем считаться, поймав преступника. Но какие были у них хоть малейшие основания заподозрить, что я преступник, и чуть не целый день так жестоко, грубо и бессмысленно издеваться надо мной?

Примите, господин редактор, уверение в моем совершенном почтении.

Ив. Бунин

Париж, 31.X.36

<Из записей>

23 октября 1870 (10 по старому стилю), 11 1/2 ч. вечера.

...70 лет тому назад на рассвете этого дня (по словам покойной матери) я родился в Воронеже, на Дворянской улице.

Тогда мне казалось, да и теперь иногда кажется, что я что-то помню из жизни в Воронеже, где я родился и существовал три года. Но все это вольные выдумки, желание хоть что-нибудь найти в пустоте памяти о том времени. Довольно живо вижу одно, нечто красивое: я прячусь за портьеру в дверях гостиной и тайком смотрю на нашу мать на диване, а в кресле перед ней на военного: мать очень красива, в шелковом с приподнятым расходящимся в стороны воротником платье с небольшим декольте на груди, а военный в кресле одет сложно и блестяще, с густыми эполетами, с орденами, – мой крестный отец, генерал Сипягин.

Еще вспоминается, а может быть, это мне и рассказывала мать, что я иногда, когда она сидела с гостями, вызывал ее, маня пальчиком, чтобы она дала мне грудь, – она очень долго кормила меня, не в пример другим детям.

Из моих детских воспоминаний: в снежные глухие сумерки под Рождество горят в деревне, на снегу, возле изб, костры. Спросил бабу на пороге: зачем это?

– А затем, барчук, чтоб покойники погрелись.

– Да ведь они на кладбище.

– Мало ли что! все ночью, каждый к своей избе, придут погреться. Им под Рождество это всегда дозволяется.

Мой отец рассказывал, что у его брата Николая Николаевича был жеребец какой-то «страшной бунинской породы» – огромный, рыжий, с белой «проточиной» на лбу.

– А у меня, – говорил отец, – все менялись верховые жеребцы: был вороной с белой звездой на лбу, был стальной, был соловый, был караковый, иначе сказать, темно-гнедой...

В тот февральский вечер, когда умерла Сапа, и я (мне было тогда лет 7–8) бежал по снежному двору в людскую сказать об этом, я на бегу все глядел в темное облачное небо, думая, что ее маленькая душа летит теперь туда. Во всем моем существе был какой-то остановившийся ужас, чувство внезапно совершившегося великого, непостижимого события.

Вскоре вечер какого-то царского праздника (конечно, 30 августа, тезоименитство Александра III). Иллюминация, плошки, их чад и керосиновая вонь. Бякин, гимназист (15 лет) показал нам в гуляющей толпе хорошенькую мещаночку, свою любовь, потом дома дал карточку какой-то молодой девицы. Совсем голый. Не сразу заснул после этого. Ночь, лампадка, что-то вроде влюбленности в мещаночку Бякина и какого-то возбуждения при мысли о карточке. Эта нагота, красота голого женского тела, – что-то совсем особое, – чувствовал уже эту особенность, нечто эстетическое и половое.

Как-то зимой приехали в Елец, остановились в «Ливенских номерах», и, по обыкновению, взяли меня туда отец и мать, потом из Харькова приехал Юлий и почти тотчас вслед за этим произошло нечто таинственное и страшное: вечером явился его товарищ Иордан, вывел его в коридор, что-то сказал ему, и они тотчас уехали куда-то, бежали.

В начале осени мой товарищ по гимназии, сын друга моего отца, Цветков, познакомил меня в городском саду с гимназисткой Юшковой. Я испытал что-то вроде влюбленности в нее и, кажется, из-за нее так запустил занятия, что остался на второй год в третьем классе. Цветков был малый уже опытный в любовных делах, бодрый нахал.

Переписано с истлевших и неполных клочков моих заметок того времени.

Конец декабря 1885 года.

...серых тучек, ветер северный, сухой забирается под пальто и взметает по временам снег... Но я мало обращал на это внимание: я спешил скорей на квартиру и уже представлял себе веселие на празднике, а нынешним вечером — покачивание вагонов, потом поле, сено, огонек в знакомом домике... и много еще хорошего.

Просидевши на вокзале в томительном ожидании поезда часа три, я наконец имел удовольствие войти в вагон и поудобнее усесться... Сначала я сидел и не мог заснуть, так как кондукторы ходили и, по обыкновению, страшно хлопали дверьми; в голове носились образы и мечты, но не отдельные, а смешанные в одно... Что меня ждет? — задавал я себе вопрос. Еще осенью я словно ждал чего-то, кровь бродила во мне, сердце ныло так сладко и даже по временам я плакал, сам не зная отчего; но и сквозь слезы и грусть, навеванную красотой природы или стихами, во мне закипало радостное светлое чувство молодости, как молодая травка весенней порой. Непременно я полюблю, думал я. В деревне есть, говорят, какая-то гувернантка! Удивительно, отчего меня к ней влечет? Может, оттого, что мне про нее много рассказывала сестра...

Наконец я задремал и не слышал, как приехал в Измалково. Лошадей за нами прислали, но ехать сейчас же было невозможно по причине метели, и нам пришлось ночевать на вокзале.

Еще с бóльшим веселым и сладким настроением духа въехал я утром в знакомое село, но встретил его не совсем таким, каким я его оставил: избышки, дома, река – все было в белых покровках. Передо мной промелькнули картины лета. Вспомнил я, как приезжал в последний раз сюда осенью.

...потребность любви!.. Но кого? В Озерках никого, а в Васильевском?.. Тоже никого! Впрочем, там есть гувернантка – но молоденькая и недурненькая, как я слышал от сестры. В самом деле меня что-то влечет к ней? Она гувернантка и, верно, тихое существо, а это идеал всех юношей. Им нравятся по большей части существа не такие, как светские резкие женщины... Может быть!..

Наконец сегодня я уже с нетерпением поехал в Васильевское. Сердце у меня билось, когда я подъезжал к крыльцу знакомого родного дома. Увижу ли я ее нынче, думал я; 23-го она была в Ельце!.. На крыльце я увидал Дуню и ее, как я предполагал; это была барышня маленького роста с светлыми волосами и голубыми глазками. Красивой ее нельзя было назвать, но она симпатична и мила. С трепетом я подал ей руку и откланялся. «Эмилия Фасильевна Фехнер!» – проговорила она. Познакомились, значит. Мне сразу сделалось неловко, и в душе зашевелилась мысль. «Неужели, – думал я, – я буду целовать эти милые ручки и губки!» Но это уже было дерзко. Весь день нонче я держал себя (...?) и натянуто и почти что не разговаривал с ней. Но она, напротив, была развязна и проста. Наконец вечером мы отправились к Пущешникову, помещику, живущему на другой стороне реки. Он нам родня. Там я стал несколько свободней с Эм. Вас. Уже сердце мое билось страстью... Я полюбил и чувствовал, что влюбляюсь все более и более. Приглашал танцевать только ее одну, гулял, и наконец перед ужином она сказала мне: «Давайте играть в карты! Хотите?» Я покраснел и неловко поклонился. Мы пошли в гостиную. Там никого не было. Мы

играли и шутили, наконец ее пришел приглашать танцевать некто молодой мальи́й Федоров, мой приятель. Я вышел также и пошел в кабинет, думая, что я уже не мог надеяться. Но через несколько минут она вошла. «Что ж вы забрались сюда, – сказала она, – я вас искала, искала!» Что это значит, подумал я!..

За ужином я сидел рядом с ней, пошли домой мы с ней под руку. Уж я влюбился окончательно. Я весь дрожал, ведя ее под руку. Расстались мы только сейчас уже друзьями, а я, кроме того, влюбленным. И теперь я вот сижу и пишу эти строки. Все спит... но мне и в ум сон нейдет. «Люблю, люблю», – шепчут мои губы.

Исполнились мои ожидания.

29 декабря 1885 г.

Сегодня вечер у тетки. На нем, наверно, будут из Васильевского и в том числе гуверн<антка>, в которую я влюблен не на шутку.

...в тот же!» Сердце у меня чуть не выскочило из груди! Она моя! Она меня любит! О! с каким сладостным чувством я взял ее ручку и прижал к своим губам! Она положила мне голову на плечо, обвила мою шею своими ручками, и я запечатлел на ее губках первый, горячий поцалуй!..

Да! Пиша эти строки, я дрожу от упоенья! от горячей первой любви!.. Может быть, некоторым, случайно заглянувшим в мое сердце, смешным покажется такое излияние нежных чувств! «Еще молокосос, а ведь влюбляется», – скажут они! Так! Человеку, занятому всеми дрязгами этой жизни и не признающему всего святого, что есть на земле, правда, свойства первобытного состояния души, то есть когда душа менее загрязнилась и эти свойства более подходят к тому состоянию, когда она была чиста и, так сказать, даже божественна, правда слишком (следующее слово нельзя разобрать. – *И. Б.*). Но, может быть, именно более всего святое свойство души. Любовь тесно связана с поэзией, а поэзия есть бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский (Бунин, я сын А. И. Бунина и пленной турчанки). Мне скажут, что я подражаю всем поэтам, которые восхваляют свя-

тые чувства и, презирая грязь жизни, часто говорят, что у них душа больная; я слышал, как говорят некоторые: поэты все плачут! Да! и на самом деле так должно быть: поэт плачет о первобытном чистом состоянии души, и смеяться над этим даже грешно! Что же касается до того, что я «молокосос», то из этого только следует то, что эти чувства более доступны «молокососу», так как моя душа еще молода и, следовательно, более чиста. Да и к тому же я пишу совсем не для суда других, совсем не хочу открывать эти чувства другим, а для того, чтобы удержать в душе напевы:

Пронесутся года. Заблестит
Седина на моих волосах,
Но об этих блаженных часах
Память сердце мое сохранит...
.....

(Строчка точек в подлиннике. – И. Б.)

Остальное время вечера я был как в тумане. Сладкое, пылкое чувство было в душе моей. Ее милые глазки смотрели на меня теперь нежно, открыто. В этих очах можно было читать любовь. Я гулял с ней по коридору и прижимал ее ручки к своим губам и сливался с нею в горячих поцалуях. Наконец пришло время расставаться. Я увидал, как она с намерением пошла в кабинет Пети. Я вошел туда же, и она упала ко мне на грудь. «Милый, – шептала она, – милый, прощай! Ты ведь приедешь на Новый год?» Крепко поцаловал я ее, и мы расстались.

.....

(Точки строчек в подлиннике – И. Б.)

Домой я приехал полный радужных мечтаний. Но при этом в сердце всасывалось другое гадкое чувство, а именно ревность. «Она завтра поедет домой с Федоровым – да еще вдвоем только... Впрочем, ведь она меня любит, а все-таки я бы не хотел, чтобы она с кем-нибудь даже разговаривала... Да, глупость, глупость это», – разувверял я себя...

Наконец я лег спать, но долго не мог заснуть. В голове носились образы, звуки... пробовал стихи писать, – Звуки

путались, и ничего не выходило... передать все я не мог, сил не хватало, да и вообще всегда, когда сердце переполнено, стихи не клеятся. Кажется, что написал бы бог знает что, а возьмешь перо – и становишься в тушик... Согласившись наконец с Лермонтовым, что всех чувств значенья «стихом размерным и словом ледяным не передашь», я погасил свечу и лег. Полная луна светила в окно, ночь была морозная, судя по узорам окна. Мягкий бледный свет луны заглядывал в окно и ложился бледной полосой на полу. Тишина была немая...

Я все еще не спал... Порой на луну, должно быть, набегали облачка, и в комнате становилось темней. В памяти у меня пролетало прошлое. Почему-то мне вдруг вспомнилась давно, давно, когда я еще был лет пяти, ночь летняя, свежая и лунная... Я был тогда в саду... И снова все перемешалось... Я глядел в угол. Луна по-прежнему бросала свой мягкий свет... Вдруг все изменилось; я встал и огляделся: я лежу на траве в саду у нас в Озерках. Вечер. Пруд дымится... Солнце сквозит меж листвою последними лучами. Прохладно. Тихо. На деревне только где-то, слышно, плачет ребенок, и далеко несется по заре, словно колокольчик, голос его. Вдруг из-за кустов идут мои прежние знакомые. Лиза остановилась, смотрит на меня и смеется, играя своим передничком. Варя, Дуня... вдруг они нагнулись все и подняли... гроб. В руках очутились факелы. Я вскочил и бросился к дому. На балконе стоит Эмилия Вас., но только не такая, какая была у тетки, а божественная какая-то, обвитая тонким покрывалом, вся в розах, свежая, цветущая. Стоит и манит меня к себе. Я взбежал и упал к ней в объятия и жаркими поцелуями покрывал ее свежее личико... Но из-за кустов вышли опять с гробом Лиза, Дуня, Варя; она вскрикнула и прижалась ко мне... Вдруг все потемнело... Кругом поле, насколько можно разглядеть, на руках у меня Мила... она шепчет и цалует меня: «милый, милый...» Далеко где-то звенит колокольчик... и... я проснулся: в комнате так же темно, луна не светит. Эк! что мне снится, подумал я, постарался поскорей заснуть опять...

27 января 1886 г.

Вечер. Сижу один в зало и хочу записать то, что неимени- ем... да нет, впрочем, даже по небрежности, внес в свой жур- нальчик. Особенного ничего не случилось. Но все-таки надо припомнить. Как я провел остальное время Святюк.

Тридцатого декабря я встал уже с сладким мучение влюб- ленного и опять с ревностью в груди, но не только! Федорову, но и даже (глупо) ко всем. Когда нонче утром заговорили о ней, я не мог слышать и, что всего

удивительней, даже хотя говорили о ней что-то хорошее и притом мать с Настей. Я уже не знаю отчего, только я ревную и не могу выносить. А тут еще поедет с Федоровым, и хотя я уве- рен, что она не изменит, но мне бы не хотелось, чтобы подоб- ные Федоровы были близко около нее. Это малый, не кончивший курс учения, хромой и притом пошляк, это один из...

Продолжение дневника 27 января 1886 года.

Юлий живет в Озерках – под надзором полиции, обязан три года не выезжать никуда.

Зимой пишу стихи. В памяти морозные солнечные дни, лунные ночи, прогулки и разговоры с Юлием.

Мой отец пел под гитару старинную, милую в своей роман- тической наивности песню, то протяжно, укоризненно, то с пе- чальной удалью, меняя лицо соответственно тем двум, что участвовали в песне, один спрашивал, другой отвечал:

– Что ты замолк и сидишь одиноко,
Дума лежит на угрюмом челе?
Иль ты не видишь бокал на столе?
Иль ты не видишь бокал на столе?

– Долго на свете не знал я приюту,
Долго носила земля сироту!
Раз, в незабвенную жизни минуту,
Раз я увидел создание одно,
В коем все сердце мое вмещено!
В коем все сердце мое вмещено!

Средины песни не помню, – помню только ту печальную,
но бодрую, даже дикую удаль, с которой вопрошавший друг
обращался к своему печальному другу:

– Стукнем бокал о бокал и запьем
Грустную думу веселым вином!

Поезд, метель, линия сугробов и щитов.

Изба полна баб и овец – их стригут.

На веретье на полу лежит на боку со связанными тонкими ногами большая седая овца. Черноглазая баба стрижет ее левой рукой (левша) огромными ножницами, правой складывая возле себя клоки сальной шерсти, и без умолку говорит с другими бабами, тоже сидящими возле связанных лежащих бокастых овец и стригущими их.

Овцы лежат смиренно, только изредка пытаются освободиться, дергаются и бьются ногами и головой.

Все пели старинные песни:

– Матушка, с горы мёды текут,
Сударыня моя, мёды сладкие...

– Один-один мил – сердечный друг,
Да и тот со мной не в любви живет!

– Что запил, загулял, друг Ванюшечка,
Что забыл да забыл про меня!

– Воротися, веселье мое,
Я тебе ли да радость скажу!

– Уснул, уснул, мой желанный,
У девушки на руке,
На кисейном рукаве.

В ранней юности многим пленял меня Полонский, мучил теми любовными мечтами, образами, которые вызывал он во мне, с которыми так разное счастлив я был! в моей воображаемой любви. Что я тогда знал! А как верно и сильно видел и чувствовал!

Выйду за оградой
Подышать прохладой,
Слышу, милый едет
По степи широкой...

Степь, синие сумерки, хутор – и она за белой каменной оградой, небольшая, крепкая, смуглая, в белой сорочке, в черной плахте, босая с маленькими загорелыми ступнями...

Лес да волны, берег дикий,
А у моря домик бедный,
Лес шумит, в сырые окна
Светит солнце, призрак бледный...
Пришли и стали тени ночи
На страже у моих дверей.
Смелей глядит мне прямо в очи
Глубокий мрак ее очей...

И я видел и любил желтоволосую северо-цветисто одетую финку...

О какой грозный час, какое дивное и страшное таинство любви!

Я рос одиноко. Всякий в юности к чему-нибудь готовится и в известный срок вступает в ту или иную житейскую деятельность, в соучастии с общей людской деятельностью. А к чему готовился я и во что вступал? Я рос без сверстников, в юности их тоже не имел, да и не мог иметь: прохождения обычных путей юности – гимназии, университета – мне было не дано. Все в эту пору чему-нибудь, где-нибудь учатся, и там, каждый в своей среде, встречаются, сходятся, а я нигде не учился, никакой среды не знал.

Говорили почему-то о Коринфском. Я очень живо вспомнил его, нашел много метких выражений для определений не только его лично, но и того типа, к которому он принадлежит. Очень хорошая фигура для рассказа (беря, опять-таки, не его лично, но исходя из него и, сделав, например, живописца, самоучку из дворовых). Щуплая фигурка, большая (сравнительно с ней) голова в пошло картинном буйстве волос, в котором вьется каждый волосок, чистый, прозрачный, чуть розовый цвет бледного лица, взгляд как будто слегка изумленный, вопрошающий, настороженный, как часто бывает у заик или пьяниц, со стыдом всегда чувствующих свою слабость, свой порок. Истинная страсть к своему искусству, многописание, вечная и уже искренняя, ставшая второй натурой, жизнь в каком-то ложнорусском древнем стиле. Дома всегда в красной косоворотке, подпоясанный зеленым жгутом с низко висящими кистями. Очень религиозен, в квартирке бедной и всегда тепло-сырой, всегда горит лампадка, и это опять как-то хорошо, пошло связывается с его

иконописностью, с его лицом христосика, с его бородкой (которая светлее, русее, чем волосы на голове). И жена, бывшая проститутка, настоящая, кажется, прямо с улицы. Он ее, вероятно, страстно любит, при всей ее вульгарности (которой он, впрочем, не замечает). Она его тоже любит, хотя втайне порочна (чем сама мучается) и поминутно готова изменить ему хоть с дворником, на ходу, на черной лестнице. Потом я вспомнил и рассказывал о Лебедеве, о Михееве, о Случевском (вот страшная истинно петербургская фигура).

Церковь Спаса-на-бору. Как хорошо: Спас-на-бору!

Вот это и подобное русское меня волнует, восхищает древностью, моим кровным родством с ним.

3 июня 1893 года, Огнёвка.

Приехал верхом с поля, весь пронизанный сыростью прекрасного вечера после дождя, свежестью зеленых мокрых ржей.

Дороги густо чернели грязью между ржами. Ржи уже высокие, заколосились. В колеях блестела вода. Впереди предо мной на западе – синие-синие тучи горами. Солнце зашло в продольную тучку под ними – и золотые столпы уперлись в них, и края их зажглись ярким кованым золотом. На юге глубина неба безмятежно ясна. Жаворонки. И все так привольно, зелено кругом. Деревня Басова в хлебах.

Писателей из народа и прежде было немало. В молодости многих из них я знал в Москве, встречался с ними, получал от них письма, всегда очень многословные и лирические, – этим особенно отличался отец известного теперь писателя Леонова, служивший приказчиком в какой-то галантерейной лавочке.

Один из этих писателей видел однажды Толстого, и вот как рассказывал он об этом:

– Мне довелось однажды воочию видеть патриарха русской литературы Льва Николаевича Толстого. Дело было так, что я разметал возле своей калитки, когда показалась передо мной фигура маститого старца, совершавшего свою обычную прогулку. Я отставил в сторону лопату и, сняв шапку, приветствовал его поклоном, причем он вступил со мной в беседу:

«Надеюсь, что вы не пьете много вина?» – спросил меня великий писатель земли русской.

Я сказал: «Наоборот», добавив при этом, что «очень страдаю от своей слабости». И тогда он тотчас посоветовал мне совсем бросить эту пагубную привычку и доставить себе нравственное удовлетворение. Потом он спросил меня: «Чем вы занимаетесь?» Тут я не удержался, сказав, что я писатель из народа, на что он ответил:

«Ну что ж, пишите только всегда правду, а не какие-нибудь выдумки».

Встреча эта глубоко врезалась мне в память.

Дальнейшие годы уже туманятся, сливаются в памяти – многие годы моих дальнейших скитаний, – постепенно ставших для меня обычным существованием, определявшимися неопределенностью его. И всего смутнее начало этих годов – самая темная душевная пора всей моей жизни. Внешне эта пора была одна, внутренне другая: тогдашние портреты мои, выражение их глаз неопровержимо свидетельствуют, что был я одержим тайным безумием.

Летом я уехал в Крым. Ни одной знакомой души там не было. Помню, поздним вечером прибыл я в Гурзуф, долго сидел на балконе гостиницы: темнело, воздух был непривычно тепел и нежен, пряно пахло дымом татарских очагов, тлеющего кизяка; горы мягкими стенами, просверленными у подножий красноватыми огнями, как будто ближе обступили тесную долину

Гурзуфа с его садами и дачами. На другой день я ушел на Аю-Даг. Без конца шел по его лесистым склонам все вверх, достиг почти до его вершины и среди колючих кустов лег в корявом низкорослом лесу на обрыве над морем. Было предвечернее время; спокойное, задумчивое море сиреневой равниной лежало внизу, с трех сторон обнимая горизонт, муаром струясь в отвесной бездне подо мною, возле бирюзовых скал Аю-Дага. Крутом, в тишине, в вечном молчании горной лесной пустыни беззаботными переливами, мирно грустными, сладкими, чуждыми всему нашему, человеческому миру, пели черные дрозды, – в божественном молчании южного предвечернего часа, среди медового запаха цветущего желтого дрока и девственной свежести морского воздуха. Я лежал, опершись на локоть, слушая дроздов, и цепенел в неразрешающемся чувстве той несказанной загадочности прелести мира и жизни, о которой немолчно говорило в тишине пение дроздов. Потом...

Вторая ночь в Гурзуфе – Пушкин, Раевский...

Еду из Огневки в Полтаву. Около 11 часов утра. Только что выехал с Бабарькиной. Даль ясная, далекие на горизонте облака, как осенью – перламутро-лиловатые, лесочки чернеют.

Грустно и люблю всех своих.

В Крыму на татарских домах крупная грубая черепица.

Перелет птиц вызывается действием внутренней секреции: осенью недостатком гормона, весной избытком его... Возбуждение в птицах можно сравнить с периодами половой зрелости и «сезонными толчками крови» у людей...

Совсем как птица был я всю жизнь!

Овчарки Кочубея. Рожь качается, ястреба, зной. Яновщина, корчма. Шишаки. Яковенко не застал, поехал за ним к нему на хутор. Вечер, гроза. Его тетка, набеленная и нарумяненная, старая, хрипит и кокетничает. Докторша «хочет невозможного».

Миргород, там ночевал.

Кременчуг, мост, солнце, желто-мутный Днепр.

За Кременчугом среди пустых гор, покрытых хлебами, думал о Святополке Окаянном.

Ночью равнины, мокрые после дождя пшеницы, черная грязь дороги.

Николаев, Буг. Ветрено и прохладно. Низкие глиняные берега, Буг пустынен. Устье, синяя туча, громадой поднявшаяся над синей сталью моря. Из-под боков парохода развалы воды... бегут сквозь решетку палубы...

Впереди море, строй парусов.

Выход из устья реки в море: речная мутная, жидкая вода сменяется чистой, зеленой, тяжелой и упругой морской... Другой ветер, другой воздух, радость этого ветра, простора, воздуха, счастье жизни, молодости... Яркая зелень волн, белизна чаек, запахи паровой кухни... Уже слегка подымает и опускает, — это было тоже всегда радостью, — и от этого особенно крепко и ловко шагаешь по выпуклой, недавно вымытой гладкой палубе и глядишь с мужской жадностью, как на баке кто-то стоит, придерживает одной рукой шляпку с развевающейся от ветра дымчатой вуалью, а другой обвивающие ее по ногам полы легкого пальто.

Пароходный лакей, похожий на Ницше, густо усатый, рыжий.

Штиль. Пароход мерно гонит раскаты волн и шипящую пену.

Там внизу, где работают стальные пароходные машины, все шипит, все в горячем масле, на котором свертываются крупные капли пара. Пахнет им и горячим металлом.

Неподвижные, крупные, металлические, белые, электрические, высоко висящие огни поздней ночью, в пустом и тихом порту. Тени пакгаузов. Крысы.

Мачты барок в порту качались мерно, дремотно, будто сожалея о чем-то!

29 мая.

Люстдорф. Рассвет, прохладный ветер, волнуется сиреневое море. Блеск взошедшего солнца начался от берега.

Днем проводил Федорова в Одессу, сидел на скалах возле прибоя. Море кажется выше берега, на котором сидишь. Шел берегом – в прибое лежала женщина.

Вечером ходил в степь, в хлеба. Оттуда смотрел на синюю пустынность моря.

Русский грек Николай Петрович Цакни, революционер, женатый на красавице еврейке (в девичестве Львовой), был сослан на крайний север и бежал оттуда на каком-то иностранном пароходе и жил нищим эмигрантом в Париже, занимаясь черным трудом, а его жена, родив ему дочь Аню, умерла от чахотки, Аня только 12-ти лет вернулась в Россию, в Одессу, с отцом, женившимся на богатой гречанке Ираклиди, учившейся пению и недоучившейся оперному искусству у знаменитой Виардо, а я, приехав в Одессу в августе 1898 года, случайно познакомился с Цакни и вскоре сделал Ане предложение. От этого брака и родился наш с нею сын Коля, лет пяти умерший после скарлатины.

С начала нынешнего века началась беспрецедентная в русской жизни вакханалия гомерических успехов в области литературной, театральной, оперной... Близился большой ветер из пустыни... И все-таки – почему же так захлебывались от восторга не только та вся новая толпа что появилась на русской улице, но и вся так называемая передовая интеллигенция – перед Горьким, Андреевым и даже Скитальцем, сходила с ума от каждой премьеры Художественного театра, от каждой новой книги «Знания», от Бальмонта, Брюсова, Андрея Белого, который вопил о «наставшем преображении мира», на эстрадах весь дергался, приседал, подбегал, озирался бессмысленно-блаженно, с ужимками очень опасного сумасшедшего, ярко и дико сверкал восторженными глазами?.. «Солнце всходит и заходит» – почему эту острожную песню пела чуть не вся Россия, так же, как и пошлую разгульную «Из-за острова на стрежень»? Скиталец, некое подобие певчего с толстой шеей, притворившийся гусяром, ушкуйником, рычал на литературных вечерах на публику: «Вы – жабы в гнилом болоте!» – и публика на руках сносила его с эстрады; Скиталец все позировал перед фотографами то с гусями, то в обнимку с Горьким или Шаляпиным! Андреев все крепче и мрачнее стискивал зубы, бледнел от своих головокружительных успехов; щеголял поддевкой тонкого сукна, сапогами с лакированными голенищами, шелковой рубахой навывпуск; Горький, сутулясь, ходил в черной суконной блузе, в таких же штанах и каких-то коротких мягких сапожках.

Проснувшись, открыл окно в сад, шурясь от утреннего низкого солнца. В свежем воздухе пахло горькой сладостью осеннего утра. На поляне перед окнами слепило таким ярким и теплым светом, что похоже было на лето. Только солнечное тепло было смешано с этой пахучей горькой свежестью, с запахом покрытых крупной росой опавших листьев и солнечный

свет был слегка розовый, а вдали, в тени старых деревьев, уже багряных, желтых и оранжевых, стоял тончайший лазурный дым легкого ночного тумана.

Поздними вечерами лежали на ометах новой соломы. Очень свежо, но тонешь в теплоте этой новой соломы. Темно, но вверху огненная жизнь бездны звездного неба и в разные стороны летящие зеленые полосы падающих звезд.

Осень, осень! Уже летают паутины на жнивьях, ярки кустящиеся зелена.

Вечера золотистые, потом ярко-красные. Небо над закатом темно-синее, ниже вогнутое, прозрачно-сиреневое. Бледность жнивья.

Черные липы сада, загораживающие всходящую за садом зеленую луну.

Неяркие звезды на смутном южном небосклоне.

<Записи>

Так всю жизнь не понимал я никогда, как можно находить смысл жизни в службе, в хозяйстве, в политике, в наживе, в семье... Я с истинным страхом смотрел всегда на всякое благополучие, приобретение которого и обладание которым поглощало человека, а излишество и обычная низость этого благополучия вызывали во мне ненависть – даже всякая средняя гостиная с неизбежной лампой на высокой подставке под громадным рогатым абажуром из красного шелка выводили меня из себя. <...>

Так же *внутренне* одиноко, обособленно и невзросло, вне всякого общества, жил я и в пору моей жизни с ней. Я по-прежнему чувствовал, что я чужой всем званиям и состояниям (равно как и всем женщинам: ведь это даже как бы и не люди, а какие-то совсем особые существа, живущие рядом с людьми, еще никогда никем точно не определенные, непонятные, хотя от начала веков люди только и делают, что думают о них). Я жил, на всех и на все смотря со стороны, до конца ни с кем не соединяясь, – даже с нею и с братом. И по-прежнему дома не сиделось...

<Заметки>

Чудовищная нежная полнота, лицо бритое, белое, точно кормилица. Купец. Очень умен. Насмешливый, с густыми усами.

Рыжий, огромный. Похоже, что ему всегда жарко.

Большой, в крылатке, седая борода во всю грудь, губастый, губы всегда мокрые.

Всегда веселый, гордый – от презрения ко всему и ко всем.

Грузный, хохочет лестницей.

Сидит, как огромный истукан, с длинным животом, расставив ноги, – колени как два полена. Невозмутимо поводит глазами.

Высокий, красивый. Очень глухой старик, левый барин.

Всегда цитирующий Щедрина.

Уездный или губернский доктор. Старый сюртук, пахнувший медью. Галстучек (черный, готовый) высоко влез сзади на пожелтевший стоячий воротничок, под ним медная, покрасневшая от времени запонка. Очень весь запущенный.

Тоже весь запущенный, запакощенный, давно не стриженный, весь в лохмах бороды и головы. Называет себя семидесятником. В голове всегда мутная дурь. Раздеваясь в прихожей, разматывая (как попало) шарф, махнул им и взъерошил сзади волосы еще больше – так и вошел в столовую (жалкий журфикс у его старого приятеля, писателя-народника). От очков кажется еще глупее. Уходя, не умолкая, говорит в прихожей, сует ноги в чужие калоши – ушел в чужих и разных.

Всю жизнь имел один престольный праздник – Татьянин день.

Надо выйти (одному из распорядителей) на эстраду только затем, чтобы сказать, что такой-то участник этого литературно-музыкального вечера по болезни не мог приехать: выйдя, облился горячим потом от волнения, страха, спугался...

Банкет. Все тесно столпились у стола с закусками и водками, поднимая и просовывая руки между плечами друг друга за рюмками, и один за другим стали откидывать головы, глотая водку, попадая затылками в лицо или в руку с рюмкою заднего.

Банкет. Нарочито не спеша поднялся, постучал с печальным и скромным видом в край тарелки вилок и решительно, вкось дернул левым плечом:

– Господа!

Все сразу смолкло, зашикали на лакеев и замерли в неумеренном (притворном) ожидании. Он склонил голову, глядя в стол, будто что-то крепко думая, не спеша переставил бокал с вином слева направо, потом вдруг взял его и с дерзкой торжественностью вскинул лицо:

– Господа!

Речь оказалась совершенно ничтожной.

После банкета, поздней зимней ночью.

Страшно пьян, несется на разогнанной извозчицкой кляче, на раскатывающихся санках с ледяной собачьей полостью, по минутно чувствует, как сама собой падает голова на грудь и стремительно обрывается сердце и сознание. И, справляясь, кричит:

– Пошел! В Стрельну! И выпьем там на «ты»! Ты замечательный извозчик!

– Ну-с, господа, благословимся еще по единой!

– *Presente medico nihil nocet!*¹

Московский букинист. Держится все время с напряженным спокойствием. Страшная точность скупой неприязненной речи, изнурительная логика.

¹ В присутствии врача все полезно! (*лат.*)

Старик, читает одним глазом, прищурив другой.

Вечный протестант, «борец», неряха, грязный, лохматый, выродок умственно, душевно и телесно, всегда возбужденный дурак.

Страстно и бестолково, косноязычно говорит с эстрады, путается, оговаривается: «Что же кашается...» (касается).

Журфикс в Москве (интеллигенция). Гости с морозу вытирают усы, бороды, близоруко протирают очки свежими носовыми платками.

Некоторые в сюртуках, душно пахнущих выхухолью (от пальто на выхухоли).

У старого, морщинистого знаменитого профессора в складках старых ботинок красноватая пыль (от старых калош).

Старик, все ищущий, к кому бы прицепиться, поговорить.

«Маститый» писатель, «передовой». Нечто совершенно противоположное искусству. Самоуверенный, наставительный, наиграл себе суровый вид.

У него в кабинете гипсовые бюстики Шевченко, Толстого, портреты Герцена, Чернышевского...

Большая белая мягкая борода. Честолюбив ужасно, помешан на счастье быть на всяких общественных собраниях председателем. К собранию постригается, молодеет.

Наслаждаясь, строго встает, звонит:

– Позвольте объявить заседание открытым. Слово предоставляется...

Вечеринки времен моей молодости. Поют: «По речке по быстрой становой едет пристав...» – «На старом кургане в широкой степи прикованный сокол сидит на цепи...»

Сокол – народ. И кто-то этого сокола *приковал к кургану*.

Известный доктор. Большой, грубый лицом. Груб в разговоре. Гордится своей грубостью и топорностью лица, сложения.

Горбуны ходят, точно гордясь горбом.

Писатель похож на сельского учителя. Навязался читать свой новый рассказ, читает. Все стараются подсмотреть, насколько толста рукопись. Чтение минут через пятнадцать всех приводит в оцепенение, настраивает против чтеца. Глядят (неприязненно) на его левую руку с папиросой, – как она фальшиво-небрежно стряхивает пепел, – на неловко перекрещенные под стулом ноги в растоптанных ботинках, на толстые уши, на

то, что он давно не стригся, на наклоненное красное простонародное лицо.

Мучительно чувствуя, что все уже ждут не дождутся конца его совершенно никому не нужного произведения, он, читая, сам заглядывает, сколько еще осталось страниц – чтобы все видели, что уж немного. Счастливы только те, что успели занять кресло, утонуть в нем, курить и закрывать глаза. И вдруг – неожиданное счастье: кончил! Замолк и некоторое время все еще сидит, согнувшись, глядя в стол, потом говорит, фальшиво усмехаясь:

– Ну-с, господа, жду суда строгого и нелицеприятного...

Молчание. Каждый выдумывает, что бы сказать, как бы вернуться, отыгаться на пустяковой критике. Наконец кто-нибудь решает: «Рассказ, по-моему, очень сильный... Только я позволил бы себе сделать автору несколько замечаний. Я, например, не совсем уловил, почему именно Шура, уходя от любимого человека, порывая с ним, так сказать, идейно...»

Клише: Сын бедняка... Отдали в ученье к сапожнику... И отец драл, и сапожник драл... На последние гроши тайком покупал и с жадностью поглощал по ночам при свете огарка лубочные книжечки... Бежал от сапожника... Перепробовал все профессии... К революции примкнул с юности...

Серо-железные волосы, того же цвета большие брови над серыми впалыми глазами и усы (подбородок бритый). Лицо очень худое, кости скул – *как ключицы*. Впалая грудь, впалый живот. Сух, серьезен, голос однообразный.

Можно сделать метранпажем.

В косоворотке (на даче), полный, сытый, розово-матовое моложавое лицо. Самоуверен, самодоволен, во всем очень определенных мнений.

Спор, который нет сил слушать: оба страшно логичны.

Очень чистый, худой высокий старик. Когда ест, надевает золотое пенсне.

Священник в черной соломенной шляпе.

Небольшой, гнутый, скромно и чисто одетый старичок, посещающий все публичные лекции, литературные вечера, собрания и т.д. Садится в первом ряду, — плохо слышит, — все слушает удивительно внимательно, подняв к уху ковшик ладони. Все слушают, делая вид, что слушают, думают о другом, о своем. Один он действительно слушает.

Писатель прочитал (на литературном вечере), антракт, хочет повидать в зале знакомых — ловит и не пускает какая-нибудь старуха («ваша страстная поклонница»), или морда-психопатка, или полоумный старик, говорящий чепуху, ненужное, длинное...

Москва, зима, очень людно, прохожие, проезжие (напр., на Арбате). Всем известный и всеми почитаемый «передовой» общественный деятель, крупный, большой мужчина в шубе, в каракулевой шапке, в золотых очках, с палкой с серебряным

набалдашником, как у протопопа, и сам похожий на протопопа, сидит в низких санках на извозчике так, как точно его тащат по снегу в этих санках: как неживого.

С холеной, красивой, молодой еще бородкой, в полном расцвете сил, с блестящими глазами, очень живыми я всегда готовыми к веселой, дружелюбной улыбке, в камергерском мундире, который своими нашивками на груди и ниже похож на ребра скелета.

Старик-князь с коричневым лицом, с прокуренными усами, всегда и всех ругает – все негодяи, с. д. и т. д.

Облезлый желтый мех старого пальто, его воротника, такая же шапка. Вернулся от обедни в морозный солнечный день, глаза полны от мороза светлыми слезами, огненные потолстевшие (тоже от мороза) уши, желтая борода и желтые прокуренные усы облеплены ледяными сосульками.

Весь металлически пахнет зимой, Москвой.

Не видались лет пять. Поразило, как у нее расширились, огрубели кости лица.

<Записи>

Весной в Харькове Арсеньеву шел 19-й год.

Зимой в Орле – 20-й. Уехал с ней в апреле.

Зимой в Полтаве шел 21-й год.

Жили в Полтаве и второе лето. Осенью сравнялось 21 год – значит, когда она бежала, должны были брать в солдаты.

Не забыть о солдатах.

Я все же немало читал тогда – то, что попадалось под руку. Иногда пытался читать то, что в то время полагалось читать «для самообразования», записал, что «надо прочесть» и так и не прочел: Блос – Французская революция, Шильдер – Александр Первый, Трачевский – Русская история, Мейер – Мироздание и жизнь природы, Ранке – Человек, Кареев – Беседы выработке мирозерцания, что было уж глупее всего... В старых журналах нахождение любимых стихов, давно знакомых по сборникам, но тут напечатанных впервые, давали великую радость: тут эти строки имели особенную прелесть, казались гораздо пленительнее, поэтичнее по их бóльшей близости к жизни их писавшего, по представлениям о том времени, когда он только что передал в них только что пережитое, по мнимому очарованию тех годов, когда жили, были молоды или в расцвете сил Герцен, Боткин, Тургенев, Тютчев, Полонский... и вот это время воскресало, – я вдруг встречал как бы в самую пору создания это знакомое, любимое...

Ее хватило только на меня одного. В каждой молодости есть некоторое особенное время расцвета ее, когда кажется, что это время есть лишь начало чего-то бесконечного, что будет еще

множество времен, событий, встреч, и все замечательных. Тогда кажется, что запас твоих душевных сил неисчерпаем. И только немногие не обманываются в таких чувствах, надеждах. А ей был дан лишь один расцвет. Та встреча со мной, что сперва, до нашей общей жизни, казалась ей случайностью, ничуть не исключающей многих дальнейших случайностей, о которых она, конечно, думала как о более достойных ее, оказалась для нее и действительно единственной по своей значительности, самым важным событием не только всей ее молодости, но и всей ее краткой жизни. И тем более велика оказалась моя вина перед ней – все-таки невольная, не сознательная.

Я тогда жил, несмотря на свою внешнюю общительность, вне всякого общества. Я по-прежнему чувствовал, что я чужой всем званиям и состояниям, равно как и всем женщинам...

...по берегу в верболазах, где пахло теплой тиной и лягушками, потом на железнодорожную станцию... На реке я купался, с наслаждением часами сидел голый на прибрежной мелкой, всегда снизу парной траве, в этом пресном речном припеке, среди прибрежных бледно-зеленых зарослей и дрожащего блеска воды. На станцию...

Я шел завтракать, шел по горячим рельсам, по путям, заглядывая в стоявшие на них после ремонта вагоны, до того накаленные внутри, до того жаркие, что жгло легкие их печной духотой и подпеченным красивым маслом тонких стен и деревянных скамеек с высокими спинками; потом сидел в вокзальном буфете: раки, ботвинья со льдом, белое удельное вино; и везде тихо, пусто, – поездов в эти часы не было – с од-

ной стороны запыленные, но все-таки веселые солнечные окна, с другой – открытые на платформу двери, навес на столбах, увитый диким виноградом...

Начало моей новой жизни совпало с началом нового, царствования. Плохие писатели писали тогда романы и повести, пошлые заглавия которых верно выражали сущность происшедшего: «На переломе», «На повороте», «На распутье», «Смены»... Все и впрямь было на ломе, все сменялось: Толстой, Щедрин, Глеб Успенский, Златовратский – Чеховым, Горьким, Скабичевский – Уклонским, Майков, Фет – Бальмонтом, Брюсовым, Репин, Суриков – Левитаном, Нестеровым, Малый театр – Художественным... Михайловский и В. В. – Туган-Барановским и Струве, «Власть земли» – «Котлом капитализма», «Устой» Златовратского – «Мужиками» Чехова и «Челкашем» Горького.

Первое время, в том разнообразном, но все же довольно однородном обществе, в котором я бывал и черты которого мне были известны еще с Харькова, над всеми чувствами и мыслями преобладало одно – сознание того перелома, который совершился со смертью Александра III: все сходилось на том, что совершилось нечто огромное – отошла в прошлое долгая пора тяжкого гнета, которого не было в русском обществе и политической жизни России со времен Николая I, и настала какая-то новая...

«Россия-сфинкс». Религия Герцена – религия земли. «Община, артель – только на них, на этих великих началах, на этих святых устоях может развиваться Россия. И это – свет во тьме *мещанского* запада».

«И вот почему, среди скорби и негодования, мы далеки от отчаяния и протягиваем вам, друзья, нашу руку на общий труд. Перед нами светло и дорога прямо» (Герцен).

Вера в народную жизнь. Народничество влияло на все – на литературу, науку, жизнь. Народничество жило верой, что Россия войдет в светлое царство социализма.

Народничество было проникнуто истинным религиозным пафосом.

Россия – страна особая, у России свой особенный путь развития. России предстоит великое слово – она скажет миру свое новое слово: вот положения, выражающие душу общественного и духовного движения за последние сто лет истории русского самопознания в XIX веке, вот история русского освободительного движения. Чаять будущего века – чаять светлого будущего.

Герцена спасала вера в социализм, в идеал.

Да, назначение русского человека – это, бесспорно, всеевропейское и всемирное. Достоевский.

Пропагандисты, герои, борцы, мученики.

«Да, веры в будущее у нас было много! Мы чувствовали силы необычайные – нам давала их вера в народ». Мокриевич.

«О, если бы я мог утонуть, распасться в этой серой грубой массе народа, утонуть... но сохранить тот же светоч истины и идеала, какой мне удалось добыть на счет того же народа!» Михайловский.



«Старая, огромная, людная Москва» и т.д. Так встретила меня Москва когда-то впервые и осталась в моей памяти сложной, пестрой, громоздкой картиной – как нечто похожее на сновидение. Через два года после того я опять приехал в Москву – тоже ранней весной и тоже в блеске солнца и оттепели, – но уже не на один день, а на многие, которые были началом новой моей жизни, целых десятилетий ее, связанных с Москвой. И отсюда идут уже совсем другие воспоминания мои о Москве, в очень короткий срок ставшей для меня, после моего второго приезда в нее, привычной, будничной, той вообще, которую я знал потом около четверти века.

Это *начало* моей новой жизни было самой темной душевной порой, внутренне самым мертвым временем всей моей молодости, хотя внешне я жил тогда очень разнообразно, общительно, на людях, чтобы не оставаться наедине с самим собой. Пространно говорить о последующей моей жизни нет возможности. Нет и необходимости: многое уже сказано, и прямо и косвенно, в моих прежних писаниях.

<Записи>

И идут дни за днями, сменяется день ночью, ночь днем – и не оставляет тайная боль неуклонной потери их – неуклонной и бесплодной, ибо идут в бездействии, все только в ожидании действия и – чего-то еще... И идут дни и ночи, и эта боль, и все неопределенные чувства и мысли, и неопределенное сознание себя и всего окружающего и есть моя жизнь, не понимаемая мной.

Вторая часть моей жизни, начавшаяся с моего возвращения под отчий кров, длилась ровно четверть века. Последним днем ее мне представляется тот летний день, когда мы с братом Георгием сидели в ожидании отплытия на палубе волжского парохода у пристани в Самаре и вдруг услышали радостные крики бежавших к нам с берега мальчишек-газетчиков:

– Екстренный выпуск! Убийство наследного принца австрийского престола!

...и этих постыдных слов:

Je ne vis que pour écrire², я жил лишь затем, чтобы писать.

Две трети всех сил своей жизни я убил на этот будто бы необходимый для меня труд. Но жил все-таки не затем, чтобы только писать. Хотел славы, похвал, даже посмертной памяти (что уже бессмысленнее всего). Но всегда содрогался от мысли о том, что вот будут после моей смерти (без меня) сохнуть на полках библиотек мои книжки, от представления о моем бюсте на могиле под кладбищенской сенью или в каком-нибудь городском сквере, где в летнее предвечернее время с идиотским визгом будут носиться друг за другом вокруг него, вечно немого, неподвижного, тонконогие мещанские дети. Но постаменте:

² Я не вижу, о чем писать (*франц.*)

«такому-то», а к чему все это? Кто об этом «таком-то» думает? Ниже две даты: год рождения, год смерти, с чертой между ними, и вот эта-то черта, ровно ничего не говорящая, и есть вся никому не ведомая жизнь «такого-то»... просто в земле, как тысячелетнюю древность, как тот или иной лик или след легендарных времен, какой-то незапамятной жизни со всеми ее первобытными (на взгляд нашедшего) людьми, одеждами, обычаями, жилищами, утварью – и вечной, вовеки одинаковой любовью мужчины и женщины, ребенка и матери, вечными печальями и радостями человека, тайной его рождения, существования, смерти.

Тот, кто умер за две, три тысячи лет до нас, и подобия не имеет того, кто умер и погребен полвека тому назад в нашем мерзком гробу, в сюртуке или мундире и в покойничьих туфлях. Две, три тысячи лет – это уже простор, освобождение от времени, от земного тления, печальное и высокое сознание тщеты всяких слав и величий. Все мои самые заветные странствия – там, в этих погибших царствах Востока и Юга, в области мертвых, забытых стран, их руин и некрополей...

Жизнь внешне выражалась чаще всего в ничтожном и *случайном* («Жизнь Арс»). Вневременная, внепространственная, она была связана с известным временем и местом, с известными временными событиями и с людьми, игравшими в свой срок ту или иную роль, казавшуюся очень значительной, – со всем, что в других местах даже и в ту пору было неизвестно, со всем, что теперь уже никому не нужно или не интересно, – что ж говорить обо всем этом, только *мне* памятно? И еще: что вообще остается в человеке от целой прожитой жизни? Только *мысль*, только знание, что вот было тогда-то то-то и то-то, да некоторые разрозненные видения, некоторые чувства.

Мы живем всем тем, чем живем, лишь в той мере, в какой постигаем цену того, чем живем. Обычно эта цена очень мала: возвышается она лишь в минуты восторга – восторга счастья

или несчастья, яркого сознания приобретения или потери; еще – в минуты поэтического преображения прошлого в памяти.

Принято приписывать слабости известного возраста то, что люди этого возраста помнят далекое и почти не помнят недавнего. Но это не слабость, это значит только то, что недавнее еще недостойно памяти – еще не преображено, не облечено в некую легендарную поэзию. Потому-то и для творчества нужно только отжившее, прошлое. *Restitutio in integrum*³ нечто ненужное (помимо того, что невозможное). «Сеется в тлении – восстает в нетлении». И далеко не все: лишь достойное того.

Дальнейшие дни и годы моей жизни образуют, при всей их разности, нечто все-таки более однородное, более простое, обыденное, более близкое мне теперешнему, нежели переменчивость, давность, легендарность детства отрочества, юности, первой молодости. Присказка всегда поэтичнее сказки.

И вот дни и годы уже туманятся и сливаются в памяти, – многие дни и годы моих дальнейших скитаний, постепенно ставших для меня обычным существованием, определившимся неопределенностью его, узаконение бездомностью, делящейся даже и доньше, когда надлежало бы мне иметь хоть какое-нибудь свое собственное и постоянное пристанище, на смену чужих стен, – теперь, уже почти два десятилетия, французских, – мертвым языком говорящих о чьих-то неизвестных, инобытных жизнях, прожитых в них. Да, зачем мне нужны и кем и когда прибиты эти разветвленные, подобные окаменевшему морскому растению, олени рога цвета пемзы над дверью прихожей с кирпичными голыми полами? Кому служила до меня эта холодная столовая с широко зияющим камином, внутри почерневшим от дыма каких-то неведомых мне зимних вечеров? Какие гости сидели на диване в шелковой вишневой обив-

³ Восстановление в первоизданном виде (*лат.*)

ке, кое-где уже продольно треснувшей, в этом безмолвном салоне с неподвижными портретами каких-то старомодно наряженных женщин и мужчин французской провинции? В кабинете какого-то бывшего хозяина стоит стопудовый секретер со множеством ящичков и ящичков, закапанных чернилами в прошлом или позапрошлом столетии. В спальнях – альковы, в которых под костяными распятиями умирали какие-то французские деды и отцы, бабушки и матери. Глядя на эти распятия...

Происхождение моих рассказов

«ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО»

Летом пятнадцатого года, проходя однажды по Кузнецкому Мосту в Москве, я увидал в витрине книжного магазина Готье издание на русском языке повести Томаса Манна «Смерть в Венеции», но не зашел в магазин, не купил ее, а в начале сентября 1915 года, живя в имении моей двоюродной сестры, в селе Васильевском, Елецкого уезда, Орловской губернии, почему-то вспомнил эту книгу и внезапную смерть какого-то американца, приехавшего на Капри, в гостиницу «Квисисана», где мы жили в тот год, и тотчас решил написать «Смерть на Капри», что и сделал в четыре дня – не спеша, спокойно, в лад осеннему спокойствию сереньких и уже довольно коротких и свежих дней и тишине в усадьбе и в доме: попишу немного, оденусь, возьму заряженную двустволку, пройду по саду на гумно, куда всегда слеталось множество голубей, возвращусь с пятаю, шестью штукаами, убитыми дуплетом, и опять сяду писать; взволновался я и писал даже сквозь восторженные слезы только то место, где идут и славословят мадонну запоньяры. Заглавие «Смерть на Капри» я, конечно, зачеркнул тотчас же, как только написал первую строку: «Господин из Сан-Франциско...» И Сан-Франциско, и все прочее (кроме того, что какой-то американец действительно умер после обеда в «Квисисане») я выдумал.

...Обычно я пишу быстро и спокойно, вполне владея своими мыслями и чувствами, но на этот раз писал, повторяю, не спеша и порою весьма волнуюсь.

«Смерть в Венеции» я прочел в Москве лишь в конце осени. Это очень неприятная книга: немецкий писатель, купавшийся на Лидо, влюбился в мальчика, очень красивого полячка, и умер в жаркой Венеции от холеры.

«ГРАММАТИКА ЛЮБВИ»

Мой племянник Коля Пупешников, большой любитель книг, редких особенно, приятель многих московских букинистов, добыл где-то и подарил мне маленькую старинную кни-

жечку под заглавием «Грамматика любви». Прочитав ее, я вспомнил что-то смутное, что слышал еще в ранней юности от моего отца о каком-то бедном помещике из числа наших соседей, помешавшемся на любви к одной из своих крепостных, и вскоре выдумал и написал рассказ с заглавием этой книжечки (от лица какого-то Ивлева, фамилию которого я произвел от начальных букв своего имени в моей обычной литературной подписи).

«ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ»

Рассказ «Легкое дыхание» я написал в деревне, в Васильевском, в марте 1916 года: «Русское слово» Сытина просило дать что-нибудь для пасхального номера. Как было не дать? «Русское слово» платило мне в те годы два рубля за строку. Но что дать? Что выдумать? И вот вдруг вспомнилось, что забрел я однажды зимой совсем случайно на одно маленькое кладбище на Капри и наткнулся на могильный крест с фотографическим портретом на выпуклом фарфоровом медальоне какой-то молоденькой девушки с необыкновенно живыми, радостными глазами. Девушку эту я тотчас же сделал мысленно русской, Олей Мещерской, и, обмакнув перо в чернильницу, стал выдумывать рассказ о ней с той восхитительной быстротой, которая бывала в некоторые счастливейшие минуты моего писательства.

С. Васильевское, 23 июля 1916 года. Все последние дни – неотступная жажда написать пушкинский рассказ. Приходило в голову заглавие: «Игроки». Что дальше? Преднамеренно что-нибудь простое, обычное для тех дней, не новое. Он, она, их общая первая любовь – и не судьба «быть счастливым». У него на всех путях его – удачливый соперник. Они как бы всю жизнь ведут борьбу, игру, в которой Стоцкий неизменно проигрывает – и в любви, и в свете, и по службе. И вот соперник Стоцкого уже давно генерал и женат, – на ней, на той, чье сердце втайне

навек от дано ему, Стоцкому, – и уже давно Стоцкий постепенно и неуклонно разоряется, от времени до времени встречаясь с генералом и проигрывая в карты состояние ему, втайне прекрасно знающему чувства и своей жены к Стоцкому, и его к ней, и наслаждающемуся его гибелью спокойно, с жестокой усмешкой, даже как бы с сожалением и с ядовитыми намеками при разговорах с женой о Стоцком: «Нет Стоцкому удачи *ниоткуда!*» – Сложилось пока только начало этой «пушкинской» повести и не в прозе, а в стихах:

Овальный стол, огромный. Вдоль по залу... <...>

«КОСЦЫ»

Когда мы с моим покойным братом Юлием возвращались из Саратова на волжском пароходе в Москву и стояли в Казани, грузчики, чем-то нагружавшие наш пароход, так восхитительно сильно и дружно пели, что мы с братом были в полном восторге... и все говорили: «Так... могут петь свободно, легко, всем существом только русские люди». Потом мы слышали, едучи на беговых дрожках с племянником и братом Юлием по большой дороге... как в березовом лесу рядом с большой дорогой пели косцы – с такой же свободой, легкостью и всем существом.

Написал я этот рассказ уже в Париже, в 1921 году, вспоминая Казань и этот березовый лес.

«ПРО ОБЕЗЬЯНУ»

Слышал рассказ о сотворении человека от проводника в Константинополе в 1913 году. Нужно было дать что-нибудь в «Иллюстрированную Россию» (в Париже, в 1936 году) – стал думать, что бы такое написать, вспомнил этот рассказ... Остальное присочинил к нему, вспомнив наше с братом Юлием плавание из Батуми в Константинополь вдоль Анатолийских берегов летом 1913 года и то, как в Трапезонде взошел на палубу нашего парохода какой-то важный старик-курд.

«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ»

Перечитывал стихи Огарева и остановился на известном стихотворении:

Была чудесная весна,
Они на берегу сидели,
Во цвете лет была она,
Его усы едва чернели...
Кругом шиповник алый цвел,
Стояла темных лип аллея...

Потом почему-то представилось то, чем начинается мой рассказ, – осень, ненастье, большая дорога, тарантас, в нем старый военный... Остальное все как-то само собой сложилось, выдумалось очень легко, неожиданно, – как большинство моих рассказов.

«БАЛЛАДА»

Жить мне осталось, во всяком случае, недолго. И приводя в порядок по мере моих уже очень слабых сил мои писания, в надежде, – тоже довольно слабой, – что они будут когда-нибудь изданы, я перечитал их почти уже все и вижу, что я не ценил их прежде так, как они того заслуживают, что они во многих отношениях замечательны по своей оригинальности, по разнообразию, сжатости, силе, по внутренней и внешней красоте, – говорю это не стыдясь, ибо уже без всякого честолюбия, только как художник. Некоторые из них мне особенно дороги, кажутся особенно восхитительны – и вот «Баллада» в числе таких. А меж тем написать его, как и многие другие рассказы, в разные прежние годы, – побудила меня нужда в деньгах. Как-то... в Париже, я увидел однажды утром, что кошелек мой совсем пуст, и тотчас решил написать что-нибудь для «Последних новостей», выдумать что-нибудь. И стал вспоминать Россию, ту усадьбу, где нередко жил почти каждый год в разные времена года, мысленно увидел зимний вечер в ее старом доме под какой-то большой

праздник... И бог дал быстро выдумать нечто совершенно прекрасное (с вымышленной странницей Машенькой, главной прелестью рассказа, с ее дивным ночным бдением, дивной речью)...

«МУЗА»

Верстах в трех от нашей усадьбы, в сельце Озерки, в Елецком уезде, при большой дороге в Елец, было имение, принадлежавшее когда-то моей матери, потом помещику Логофету, а в моей юности его нищему сыну, пьянице, рыжему, тощему. Я изредка бывал у него, был однажды лунным зимним вечером, в доме, освещенном только луною, почему-то, – это всегда бывает неизвестно почему, – вспомнил какой-то момент этого вечера и все хотел что-то присочинить к нему, вставить его в какой-то рассказ, который все не выдумывался. Все это вспомнилось мне однажды, в канун октября 1938 года в Beausoleil (над Монте-Карло), и вдруг пришел в голову и сюжет «Музы» – как и почему, совершенно не понимаю: тут тоже все сплошь выдуманно, – кроме того, что я когда-то часто и подолгу жил в Москве на Арбате в номерах «Столица»...

Вспомнилась гостиница... неожиданно заметил в ней себя каким-то человеком, вздумавшим стать художником, и никак не могу вспомнить, почему, откуда взялась эта странная Муза Граф, – никогда подобной не встречал. Жизнь художника на даче, подмосковные дни и ночи там – некоторое подобие (гораздо более поэтическое действительности) того недолгого времени, когда я гостил на даче писателя Телешева.

А Завистовский тоже выдуман, – не выдумана только его усадьба, на самом деле принадлежавшая когда-то нашей матери...

«СТЕПА»

Написано в 1938 году, на вилле в Beausoleil, над Монте-Карло.

Представилось однажды, что еду на беговых дрожках от имения моего брата Евгения (на границе Тульской и Орловской

губерний) по направлению к станции Боборыкино. Проливной дождь. Затем – сумерки, постоянный двор возле шоссе и какой-то человек, остановившийся возле этого постоянного двора и на его крыльце счищающий кнутовищем грязь с высоких сапог. Все остальное сложилось как-то само собой, неожиданно; когда начал: рассказ, еще не знал, чем кончу.

...Это у меня постоянное – то и дело ни с того ни с сего частично мелькает в воображении какое-нибудь лицо, какой-нибудь пейзаж, какая-нибудь погода, – мелькает и пропадает, а иногда вдруг задерживается, останавливает внимание на себе, смутно требует развития, уточнения, волнует...

Отсюда и происхождение большинства моих рассказов.

Очень часто возникновение рассказа происходит у меня от какой-нибудь вообразившейся картины природы.

«НАТАЛИ»

Мне как-то пришло в голову: вот Гоголь выдумал Чичикова, который ездит и скупает «мертвые души», и так не выдумать ли мне молодого человека, который поехал на поиски любовных приключений? И сперва я думал, что это будет ряд довольно забавных историй. А вышло совсем, совсем другое.

Молодой герой моего рассказа сперва заезжает, – ненадолго, – в имение своего родного дяди, улана Черкасского, для которого я взял старика-улана Муромцева, который слыл под кличкой «раздраженный улан», между тем как улан Черкасский был добрый человек, только такой же большой ростом и всем складом, как улан Муромцев. Я поместил его имение в речной долине, подобной той, в которой было расположено имение брата улана.

<Как я пишу>

Как я пишу? В молодости очень разбрасывался. Писать – всегда хотел, но всегда в то же время хотел и жить, и потому писать не всегда удавалось так, как того хотелось бы. В молодости я писал почти всегда слишком торопливо, случайно. Я был такой же и тогда, когда обо мне писалось, что будто бы я чудесно отделяваю каждую фразу.

...Чеканка фраз! Но я никогда не занимался этим. Да и что значит «чеканить»? Ведь у писателя форма неразрывно связана с содержанием и рождается сама собой из содержания.

Позднее работа пошла правильнее, спокойнее. Я привык работать только в покое – для этого замыкался в уединении, в деревне или, как позднее, приезжал в Италию, на Капри. Но писал всегда как-то запоем. Садился за писание, и это означало, что надолго, пока не выпишусь до конца. И никогда, кстати сказать, не писал и не пишу по ночам. Вообще на нервах не работаю...

Как возникает во мне решение писать?.. Чаще всего совершенно неожиданно. Эта тяга писать появляется у меня всегда из чувства какого-то волнения, грустного или радостного чувства, чаще всего оно связано с какой-нибудь развернувшейся передо мной картиной, с каким-то отдельным человеческим образом, с человеческим чувством... Это – самый начальный момент. Иногда я подолгу таю в себе это начало, иногда сажусь писать тотчас же, если это бывает в деревне, в тишине, в уединении, в рабочей колее. Но это вовсе не означает того, что, беря перо, я наперед уже знаю все в целом, что мне предстоит написать. Это редко бывает. Я часто приступаю к своей работе, не только не имея в голове готовой фабулы, но и как-то еще не обладая вполне пониманием ее окончательной цели. Только какой-то самый общий смысл брезжит мне, когда я приступаю к ней. Не готовая идея, а только самый общий смысл произведения владеет мною в этот начальный момент – лишь звук его, если можно так выразиться. И я часто не знаю, как я кончу: случается, что оканчиваешь свою вещь совсем не так, как предполагал вначале и даже в процессе работы. Только, повторяю, самое главное,

какое-то общее звучание всего произведения дается в самой начальной фазе работы...

Да, *первая фраза* имеет решающее значение. Она определяет, прежде всего, размер произведения, звучание всего произведения в целом. И вот еще что. Если этот изначальный звук не удастся взять правильно, то неизбежно или запутаешься и отложишь начатое, или просто отбросишь начатое, как негодное...

...Я никогда не писал под воздействием привходящего чего-нибудь извне, но всегда писал «из самого себя». Нужно, чтобы что-то родилось во мне самом, а если этого нет, я писать не могу. Я никогда не умел и не могу стилизовать. Писать «в духе» чего-либо я не мог и не буду. Я вообще никогда не ставил себе в своем писании внешних заданий... Когда я писал стихи, я никогда не ставил себе задачи нарочито изломать стих, внести «новшество» в него. Свои стихи, кстати сказать, я не отграничиваю от своей прозы. И здесь, и там одна и та же ритмика... – дело только в той или иной силе напряжения ее.

«Извне» не оказывает на меня воздействия и с другой стороны. Во мне никогда не рождалось желания писать под воздействием чужого писания. Но, конечно, чужое хорошее всегда возбуждает желание писать. В этом отношении я вполне противоположен одному писателю, который говорил, что когда ему не хочется писать, то он берет с полки Круглова или Златовратского. «Это так скверно, что хочется писать самому!..» Повторяю – тайна возникновения начального чувства, побуждающая писателя к творчеству, очень трудно уловима. Это чувство приходило ко мне и в поле, и на улице, и в море, и дома, в соответствии с тем или иным освещением, или с встреченным человеческим лицом, иногда за чтением. Но как? Какое-нибудь отдельное слово, часто самое обыкновенное, какое-нибудь имя пробуждает чувство, из которого и рождается воля к писанию. И тут как-то сразу слышишь тот призывный звук, из которого и рождается все произведение...

1929

Из книги «Воспоминания»

Рахманинов

При моей первой встрече с ним в Ялте произошло между нами нечто подобное тому, что бывало только в романтические годы молодости Герцена, Тургенева, когда люди могли проводить целые ночи в разговорах о прекрасном, вечном, о высоком искусстве. Впоследствии, до его последнего отъезда в Америку, встречались мы с ним от времени до времени очень дружески, но все же не так, как в ту встречу, когда, проговорив чуть не всю ночь на берегу моря, он обнял меня и сказал: «Будем друзьями навсегда!» Уж очень различны были наши жизненные пути, судьба все разъединяла нас, встречи наши были всегда случайны, чаще всего недолги, и была, мне кажется, вообще большая сдержанность в характере моего высокого друга. А в ту ночь мы были еще молоды, были далеки от сдержанности, как-то внезапно сблизились чуть не с первых слов, которыми обменялись в большом обществе, собравшемся, уже не помню почему, на веселый ужин в лучшей ялтинской гостинице «Россия». Мы за ужином сидели рядом, пили шампанское Абрау-Дюрсо, потом вышли на террасу, продолжая разговор о том падении прозы и поэзии, что совершалось в то время в русской литературе, незаметно спустились во двор гостиницы, потом на набережную, ушли на мол, — было уже поздно, нигде не было ни души, — сели на какие-то канаты, дыша их дегтярным запахом и этой какой-то совсем особой свежестью, что присуща только черноморской воде, и говорили, говорили все горячее и радостней уже о том чудесном, что вспоминалось нам из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова... Тут он взволнованно, медленно стал читать то стихотворение Майкова, на которое он, может быть, уже написал тогда иди только мечтал написать музыку:

Я в гроте ждал тебя в урочный час.
Но день померк; главой качая сонной,
Заснули тополи, умолкли гальционы:
Напрасно! Месяц встал, сребрился и угас;

Редела ночь; любовница Кефала,
Облокотись на рдяные врата
Младого дня, из кос своих роняла
Златые зерна перлов и опала
На синие долины и леса...

Репин

Из художников я встречался с братьями Васнецовыми, с Нестеровым, с Репиным... Нестеров хотел написать меня за мою удобу святым, в том роде, как он их писал; я был польщен, но уклонился, — увидеть себя в образе святого не всякий согласится. Репин тоже удостоил меня — он однажды, когда я был в Петербурге с моим другом художником Нилусом, пригласил меня ездить к нему на дачу в Финляндии, позировать ему для портрета. «Слышу от товарищей по кисти, — писал он мне, — слышу милую весть, что приехал Нилус, наш художник прекрасный, — ах, если бы мне его краски! — а с ним и вы, прекрасный писатель, портрет которого мечтаю написать: приезжайте, милый, сговоримся и засядем за работу». Я с радостью поспешил к нему: ведь какая это была честь — быть написанным Репиным! И вот приезжаю, дивное утро, солнце и жестокий мороз, двор дачи Репина, помешавшегося в ту пору на вегетарианстве и на чистом воздухе, в глубоких снегах, а в доме — все окна настезь; Репин встречает меня в валенках, в шубе, в меховой шапке, целует, обнимает, ведет в свою мастерскую, где тоже мороз, как на дворе, и говорит: «Вот тут я и буду вас писать по утрам, а потом будем завтракать как господь бог велел: травкой, дорогой мой, травкой! Вы увидите, как это очищает и тело и душу, и даже проклятый табак скоро бросите». Я стал низко кланяться, горячо благодарить, забормотал, что завтра же приеду, но что сейчас должен немедля спешить назад, на вокзал — страшно срочные дела в Петербурге. И сейчас же вновь расцеловался с хозяином и пустился со всех ног на вокзал, а там кинулся к буфету, к водке, жадно закурил, вскочил в вагон, а из Петербурга на другой день послал телеграмму: дорогой Илья Ефимович, я, мол, в полном отчаянии, срочно вызван в Москву, уезжаю нынче же с первым поездом...

Джером Джером

Кто из русских не знает его имени, не читал его? Но не думаю, чтобы многие русские могли похвалиться знакомством с ним. Два, три человека разве – и в том числе я.

Я в Англии до 1926 года не бывал. Но в этом году лондонский P. E.N.Club вздумал пригласить меня на несколько дней в Лондон, устроить по этому поводу литературный банкет, показать меня английским писателям и некоторым представителям английского общества.хлопоты насчет визы и расходы по поездке клуб взял на себя – и вот я в Лондоне.

Возили меня в очень разнообразные дома, но в каждом из них я непременно претерпевал что-нибудь достойное Джерома. Чего стоят одни обеды, во время которых тебя жжет с одной стороны пылающий, как геенна огненная, камин, а с другой – полярный холод!

Перед самым отъездом из Лондона я был в одном доме, куда собралось особенно много народа. Было очень оживленно и очень приятно, только так тесно, что стало даже жарко, и милые хозяева вдруг распахнули все окна настежь, невзирая на то, что за ними валил снег. Я шутя закричал от страха и кинулся по лестнице спасаться в верхний этаж, где тоже было много гостей, и на бегу услышал за собой какие-то радостные восклицания: неожиданно явился Джером Джером.

Он медленно поднялся по лестнице, медленно вошел: в комнату среди почтительно расступившейся публики! и, здороваясь со знакомыми, вопросительно обвел комнату глазами. Так как оказалось, что он пришел только затем, чтобы познакомиться со мной, то его подвели ко мне. Он старомодно и как-то простонародно подал мне большую, толстую руку и маленькими голубыми глазами, в которых играл живой, веселый огонек, пристально поглядел мне в лицо.

– Очень рад, очень рад, – сказал он. – Я теперь, как младенец, по вечерам никуда не выхожу, в десять часов уже в постельку! Но вот разрешил себе маленькое отступление от правил, пришел на минутку – посмотреть, какой вы, позжать вашу руку...

Это был плотный, очень крепкий и приземистый старик с красным и широким бритым лицом, в просторном и длинно-полом черном сюртуке, в крахмальной рубашке с отложным воротничком, под которым скромно лежала завязанная бантиком узкая черная ленточка галстука, – настоящий старозаветный коммерсант или пастор.

Через несколько минут он действительно ушел и навсегда оставил во мне впечатление чего-то очень добротного и очень приятного, но уж никак не юмориста, писателя со всемирной славой.

Шаляпин

В Москве когда-то говорили, что Шаляпин дружит с писателями в пику Собинову, который соперничал с ним в славе: говорили, что тяга Шаляпина к писателям объясняется вовсе не его любовью к литературе, а желанием слыть не только знаменитым певцом, но и «передовым, идейным человеком», – пусть, мол, сходит с ума от Собинова только та публика, которая во все времена и всюду сходила и будет сходиться с ума от теноров. Но мне кажется, что Шаляпина тянуло к нам не всегда выгодно. Помню, например, как горячо хотел он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом. Я наконец спросил:

– Да за чем же дело стало?

– За тем, – отвечал он, – что Чехов нигде не показывается, все нет случая представиться ему.

– Помилуй, какой для этого нужен случай! Возьми извозчика и поезжай.

– Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А кроме того, я знаю, что я так оробею перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком. Вот если бы ты свез меня как-нибудь к нему...

Я не замедлил сделать это и убедился, что все была правда: войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать... А вышел от него в полном восторге:

– Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот это человек! Вот это писатель! Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов.

– Спасибо, – сказал я, смеясь.

Он захохотал на всю улицу.

Есть знаменитая фотографическая карточка, – знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в свое время в сотнях тысячах экземпляров, – та, на которой сняты Андреев, Горький, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московский немецкий ресторан

«Альпийская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:

– Опять сниматься! Все сниматься! Сплошная собачья свадьба.

Скиталец обиделся.

– Почему же это свадьба да еще собачья? – ответил он своим грубо-наигранным басом. – Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другие считают себя.

– А как же это назвать иначе? – сказал я. – Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россия гибнет, в ней «всякие напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней «реет буреветник, черной молнии подобен», а что в Москве, в Петербурге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием: новый сборник «Знания», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова, лихачи мчатся к Яру и в Стрельну...

Дело могло перейти в ссору, но тут поднялся общий смех. Шаляпин закричал:

– Браво, правильно! А все-таки айда, братцы, увековечивать собачью свадьбу! Снимаемся мы, правда, частенько, да надо же что-нибудь потомству оставить после себя. А то пел, пел человек, а помер – и крышка ему.

– Да, – подхватил Горький, – писал, писал – и околел.

– Как, например, я, – сумрачно сказал Андреев. – Околою в первую голову...

Он это постоянно говорил, и над ним посмеивались. Но так оно и вышло.

Все считали Шаляпина очень левым, ревели от восторга, когда он пел «Марсельезу» или «Блоху», в которой тоже усматри-

вали нечто революционное, сатанинское, издевательство над королями:

Жил-был король когда-то,
При нем блоха жила...

И что же вдруг случилось? Сатана стал на колени перед королем, – по всей России прокатился слух: Шаляпин стал на колени перед царем! Толкам об этом, возмущению Шаляпиным, не было конца-краю. И сколько раз потом оправдывался Шаляпин в этом своем прегрешении!

– А как же мне было не стать на колени? – говорил он. – Был бенефис императорского оперного хора, вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалованья, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился и стал. И что же мне, тоже певшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленопреклонения, как вдруг вижу: весь хор точно косою скосило на сцене, все оказались на коленях, протягивая руки к царской ложе! Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом? Ведь это же был бы форменный скандал!



В России я его видел в последний раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже приехал в Петербург Ленин. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашение от Горького присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горький должен был держать речь по поводу учреждения им какой-то «Академии свободных наук». Не понимаю, не помню, почему мы с Шаляпиным получили приглашение на это во всех смыслах нелепое сборище. Горький держал свою речь весьма долго, высокопарно и затем объявил:

– Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!

Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами, вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колени». Но он решительно сказал прибежавшему:

– Я не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале.

Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:

– Вот, брат, какое дело: и петь нельзя, и не петь нельзя. – ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петь я не стану.

И так и не стал. При большевиках уже не был столь храбр. Зато в конце концов ухитрился сбежать от них.

В июне тридцать седьмого года я слушал его в последний раз в Париже. Он давал концерт, пел то один, то с хором Афонского. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен. Волновался необыкновенно. Он, конечно, всегда волновался, при всех своих выступлениях, – это дело обычное: я видел, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова, видел за кулисами после сыгранной роли Ленского и даже самого Росси, – войдя в свою уборную, они падали просто замертво. То же самое в некоторой мере бывало, вероятно, и с Шаляпиным, только прежде публика этого никогда не видала. Но на этом последнем концерте она видела, и Шаляпина спасал только его талант жестов, интонаций. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашел к нему. Я пошел. Он стоял бледный, в поту, держа папиросу в дрожащей руке, тотчас спросил (чего прежде, конечно, не сделал бы):

– Ну что, как я пел?

– Конечно, превосходно, – ответил я. И пошутил: – Так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику.

– Спасибо, милый, пожалуйста, подпевай, – ответил он со смутной улыбкой. – Мне, знаешь, очень нездоровится, на днях уезжаю отдыхать в горы, в Австрию. Горы, – это, брат, первое дело. А ты на лето куда?

Я опять пошутил:

– Только не в горы. Я и так все в горах: то Монмартр, то Монпарнас.

Он опять улыбнулся, но очень рассеянно.

Ради чего дал он этот последний концерт? Ради того, вероятно, что чувствовал себя на исходе и хотел проститься со сценой, а не ради денег, хотя деньги любил, почти никогда, не пел с благотворительными целями, любил говорить:

– Бесплатно только птички поют.

В последний раз я видел его месяца за полтора до его кончины, – навестил его, больного, вместе с М. А. Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил, жизненного и актерского блеска было в нем еще много. Он сидел в кресле в углу столовой, возле горевшей под желтым абажуром лампы, в широком черном шелковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым надо лбом коком, огромный и великолепный, как стареющий лев. Такого породистого величия я в нем прежде никогда не видал. Какая была в нем кровь? Та особая севернорусская, что была в Ломоносове, в братьях Васнецовых? В молодости он был крайне престопаден с виду, но с годами все менялся и менялся.

Толстой, в первый раз послушав его пение, сказал:

– Нет, он поет слишком громко.

Есть еще и до сих пор множество умников, искренне убежденных, что Толстой ровно ничего не понимал в искусстве, «брал Шекспира, Бетховена». Оставим их в стороне; но как же все-таки объяснить такой отзыв о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем достоинствам шаляпинского голоса, шаляпинского таланта? Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, – высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая действительно была у Шаляпина всегда, а в те годы, – ему было тогда лет двадцать пять, – особенно: на избыток, на некоторую неумеренность, подчеркнутость его всяческих сил. В Шаляпине было слишком много «богатырского размаха», данного ему и от природы и благоприобретенного на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздражаемая непрестанными восторгами толпы везде и всюду, по всему миру, где бы она его ни видала: на оперной сцене, на концертной эстраде, на знаменитом пляже, в дорогом ресторане или в салоне миллионера. Трудно вкусившему славы быть умеренным!

– Слава подобна морской воде, – чем больше пьешь, тем больше жаждешь, – шутил Чехов.

Шаляпин пил эту воду без конца, без конца и жаждал. И как его судить за то, что любил он подчеркивать свои силы, свою удаль, свою русскость, равно как и то, «из какой грязи попал он в князи»? Раз он показал мне карточку своего отца:

– Вот посмотри, какой был у меня родитель. Драл меня нещадно!

Но на карточке был весьма благопристойный человек лет пятидесяти, в крахмальной рубашке с отложным воротничком и с черным галстучком, в енотовой шубе, и я усумнился: точно ли драл? Почему это все так называемые «самородки» непременно были «нешадно драны» в детстве, в отрочестве? «Горький, Шаляпин поднялись со дна моря народного»... Точно ли «со дна»? Родитель, служивший в уездной земской управе, ходивший в енотовой шубе и в крахмальной рубашке, не бог весть какое дно. Думаю, что несколько прикрашено вообще все детство, все

отрочество Шаляпина в его воспоминаниях, прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни, — например, какой-то кузнец, что-то уж слишком красиво говоривший ему о пении:

— Пой, Федя, — на душе веселей будет! Песня — как птица, выпусти ее, она и летит!

И все-таки судьба этого человека была действительно сказочна, — от приятельства с кузнецом до приятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанция немалая. Была его жизнь и счастлива без меры, во всех отношениях: поистине дал ему бог «в пределе земном все земное». Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых сорока лет странствий по всему миру и всяческих земных соблазнов.

Я однажды жил рядом с Баттистини в гостинице в Одессе: он тогда в Одессе гастролировал и всех поражал не только молодой свежестью своего голоса, но и вообще молодостью, хотя ему было уже семьдесят четыре года. В чем была тайна этой молодости? Отчасти в том, как берег он себя: после каждого спектакля тотчас же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шаляпин? Я его знал много лет и вот вспоминаю: большинство наших встреч с ним все в ресторанах. Когда и где мы познакомились, не помню. Но помню, что перешли на «ты» однажды ночью в Большом Московском трактире, в огромном доме против Иверской часовни. В этом доме, кроме трактира, была и гостиница, в которой я, приезжая в Москву, иногда живал подолгу. Слово трактир уже давно не подходило к тому дороговому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами, и тем более в ту пору, когда я жил над ним в гостинице: в эту пору его еще расширили, открыли при нем новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обедов, для ночных кутежей наиболее знатных московских кушцов из числа наиболее европеизированных. Помню, что в тот вечер главным

среди пирующих был московский француз Сиу со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сиу, как говорится, лилось рекой, он то и дело посылал на чай сторублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленной блестящим люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла огромная фигура желтоволосого Шаляпина. Он, что называется, «орлиным» взглядом окинул оркестр – и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой исступленный восторг охватил неаполитанцев и всех пирующих при этой неожиданной «королевской» милости! Пили мы в ту ночь чуть не до утра, потом, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь на лестнице в гостиницу, и он вдруг мне сказал таким волжским тенорком:

– Думаю, Ванюша, что ты очень выпимши, и поэтому решил поднять тебя на твой номер на своих собственных плечах, ибо лифт не действует уже.

– Не забывай, – сказал я, – что живу я на пятом этаже и не так мал.

– Ничего, милый, – ответил он, – как-нибудь донесу!

И, действительно, донес, как я ни отбивался. А донеся, доиграл «богатырскую» роль до конца – потребовал в номер бутылку «столетнего» бургонского за целых сто рублей (которое оказалось похоже на малиновую воду).

Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать: тратил он себя все-таки порядочно. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно рассказывать то то, то другое, все изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками, – и чаще всего самыми крепкими, – жечь папиросу за папиросой и все время «богатырствовать» было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче по зимней ночной Москве из «Праги» в «Стрельну»: мороз жестокий, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой рост, распахнувши

шубу, говорит и хохочет во все горло, курит так, что искры летят по ветру. Я не выдержал и крикнул:

– Что ты над собой делаешь! Замолчи, запахнись и брось папиросу!

– Ты умный, Ваня, – ответил он сладким говорком, – только напрасно тревожишься: жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит.

– Надоел ты мне со своей Русью! – сказал я...

– Ну, вот, вот. Опять меня бранишь. А я этого боюсь, бранью человека можно в гроб вогнать. Все называешь меня «ой ты, гой еси, добрый молодец»: за что, Ваня?

– За то, что не щеголяй в поддевках, в лаковых голенищах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясками, не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым, Скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах, – помни, кто ты и кто они.

– Чем же я от них отличаюсь?

– Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди, а все их писания все-таки только «литература» и часто даже лубочная, твой же голос, во всяком случае, не «литература».

– Пьяные, Ваня, склонны льстить.

– И то правда, – сказал я, смеясь. – А ты все-таки замолчи и запахнись.

– Ну, ин будь по-твоему...

И, запахнувшись, вдруг так рывкнул «У Карла есть враги!», что лошадь рванула и понесла еще пуще.

В Москве существовал тогда литературный кружок «Среда», собиравшийся каждую неделю в доме писателя Телешова, богатого и радушного человека. Там мы читали друг другу свои писания, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нередким гостем, слушал чтения, – хотя терпеть не мог слушать, – иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел – то народные русские песни, то французские шансонетки, то «Блоху», то

«Марсельезу», то «Дубинушку» – и все так, что у иных «дух захватывало».

Раз, приехав на «Среду», он тотчас же сказал:

– Братцы, петь хочу!

Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же:

– Петь до смерти хочется! Возьми лихача и немедля приезжай. Будем петь всю ночь.

Было во всем этом, конечно, актерство. И все-таки легко представить себе, что это за вечер был – соединение Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин в тот вечер довольно справедливо сказал:

– Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей.

Так пел он однажды и у меня в гостях на Капри, в гостинице «Квисисана», где мы с женой жили три зимы подряд. Мы дали обед в честь его приезда, пригласили Горького и еще кое-кого из каприйской русской колонии. После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание... Когда я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер:

– Помнишь, как я пел у тебя на Капри?

Потом завел граммофон, стал ставить напетые им в прежние годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча:

– Неплохо пел! Дай бог так-то всякому!

1938

Куприн

Это было давно — когда я только что узнал о его существовании, впервые увидел в «Русском богатстве» его имя, которое все тогда произносили с ударением на первом слоге, и этим ударением, как я видел это впоследствии, почему-то так оскорбляли его, что он, как всегда в минуты гнева, по-звериному щурил глаза, и без того небольшие, и вдруг запальчиво бормотал своей обычной армейской скороговоркой, ударяя на последний слог:

— Я — Куприн и всякого прошу это помнить. На ежа садиться без штанов не советую.

Сколько в нем было когда-то этого звериного — чего стоит одно обоняние, которым он отличался в необыкновенной степени! И сколько татарского! Насчет многого, что касалось его личной жизни, он был очень скрытен, так что, несмотря на всю нашу большую и такую долгую близость, я плохо знаю его прошлое. Знаю, что он учился в Москве, сперва в кадетском корпусе, потом в Александровском военном училище, недолгое время был офицером на русско-австрийской границе, а затем чем только не был! Изучал зубоврачебное дело, служил в каких-то конторах, потом на каком-то заводе, был землемером, актером, мелким журналистом... Кто был его отец? Кажется, военный врач, благодаря чему Александр Иванович и попал в кадетский корпус. Знаю еще, что он рано умер и что вдова его оказалась в такой бедности, что принуждена была жить в московском «Вдовьем доме». Про нее знаю, что, по происхождению, она была княжна с татарской фамилией, и всегда видел, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цветную тюбетейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, где садился так широко и важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза. Это была пора, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по этим ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками, и униженно умоляли его взять тысячу, две тысячи рублей авансом за

одно только обещание не забыть их при случае своей милостью, а он, грузный, большеликий, только щурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим шепотом: «Геть сию же минуту к чертовой матери!» – что робкие люди сразу словно сквозь землю проваливались. Но даже и тогда, в эту самую плохую его пору, много было в нем и совсем другого, столь же характерного для него: наряду с большой гордостью много неожиданной скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, застенчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму, много наивности, простодушия, хотя порой и наигранного, много мальчишеской веселости и того милого однообразия, с которым он все изъяснялся в своей постоянной любви к собакам, к рыбакам, к цирку, к Дурову, к Поддубному – и к Пушкину, к Толстому, – тут он, впрочем, неизменно говорил только о лошади Вронского, о «прелестной, божественной Фру-Фру», – и еще к Киплингу. За последние годы критики не раз сравнивали его самого с Киплингом. Сравнивали, разумеется, неудачно, – Киплинг возвышался в некоторых своих вещах до подлинной гениальности, Киплинг был настолько велик, как поэт, и настолько своеобразен, един в своем роде, что кого же можно с ним сравнить? Но что Куприн мог любить его, вполне естественно.

Я поставил на него ставку тотчас после его первого появления в «Русском богатстве» и потому с радостью услышал однажды, гостя у писателя Федорова в Люстдорфе, под Одессой, что к нашим сожителям по даче Карышевым приехал писатель Куприн, и немедля пошел с Федоровым знакомиться с ним. Лил дождь, но все-таки дома мы его ее застали, – «он, верно, купается», – сказали нам. Мы сбегали к морю и увидели неловко вылезавшего из воды невысокого, слегка полного и розового телом человека лет тридцати, стриженного каштановым ежиком, близоруко разглядывающего нас узкими глазами. – «Куприн?» – «Да, а вы?» – Мы назвали себя, и он сразу просиял дружеской улыбкой, энергично пожал наши руки своей небольшой рукой (про которую Чехов сказал мне однажды: «Галантливая рука!»). После знакомства мы сошлись с ним

удивительно быстро, – в нем тогда веселости и добродушия было так много, что на всякий вопрос о нем, – кроме того, что казалось его семьи, его детства, – он отвечал с редкой поспешностью и готовностью своей отрывистой скороговоркой: «Откуда я сейчас? Из Киева... Служил в полку возле австрийской границы, потом полк бросил, хотя звание офицера считаю самым высоким... Жил и охотился в Полесье, – никто даже себе и представить не может, что такое охота на глухарей перед рассветом! Потом за гроши писал всякие гнусности для одной киевской газетки, ютился в трущобах среди самой последней сволочи... Что я пишу сейчас? Ровно ничего, – ничего не могу придумать, а положение ужасное – посмотрите, например: так разбились штаблеты, что в Одессу не в чем поехать... Слава богу, что милые Карышевы приютили, а то бы хоть красть...»

В это чудесное лето, в южные теплые звездные ночи мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным ледяным морем, и я все приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка. «Да меня же куда не примут», – жалостливо скулил он в ответ. «Но ведь вы уже печатались!» – «Да, а теперь, чувствую, напишу такую ерунду, что не примут». – «Я хорошо знаком с Давыдовой, издательницей «Мира божьего», – ручаюсь, что там примут». – «Очень благодарю, но что ж я напишу? Ничего не могу придумать!» – «Вы знаете, например, солдат, – напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит ночью на часах и томится, скушает, вспоминает деревню...» – «Но я же не знаю деревни!» – «Пустяки, я знаю, давайте придумывать вместе...» Так и написал он свою «Ночную смену», которую мы послали в «Мир божий», потом еще какой-то рассказик, который я немедленно отвез в Одессу, в «Одесские новости», – сам он почему-то «ужасно боялся», – и за который мне удалось тут же схватить для него двадцать пять рублей авансом. Он ждал меня на улице и, когда я выскочил к нему из редакции с двадцатипятирублевкой, глазам своим не поверил от счастья, потом побежал покупать себе «штаблеты», потом на лихаче помчал меня в

приморский ресторан «Аркадию» угощать жареной скумбрией и белым бессарабским вином... Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он мне во хмелю впоследствии:

– Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого!

Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий: то бывал он со мной нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от твоей изобразительности в глазах рябит. Одно ценю, ты пишешь отличным языком, а кроме того, отлично верхом ездешь. Помнишь, как мы закатывались в Крыму в горы?» Про хмельного я уж и не говорю: во хмелю, в который он впадал, несмотря на все свое удивительное здоровье, от одной рюмки водки, он лез на ссоры чуть не со всяким, кто попадался ему под руку. Дикая горячность его природы была вообще совершенно поразительна, равно как и переменчивость настроений. Чем больше я узнавал его, тем все больше думал, что нет никакой надежды на его мало-мальски правильную, обыденную жизнь, на планомерную литературную работу: мотал он свое здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной, жил где попало и как попало с беспшабашностью человека, которому все трын-трава...

Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встречались в Одессе, и тут я видел, как он опускается все больше и больше, дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах, ничего не читает и никем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов... В эту пору он особенно часто говорил, что писателем он стал совершенно случайно, хотя с великой страстью, даже сладострастием предавался при встречах со мной смакованию всяких острых художественных наблюдений и очень часто проявлял какие-то едкие душевные склонности – охоту, например, к издевательствам над людьми. «Взять какого-нибудь болвана, –

часто говорил он с упоением, – взять какую-нибудь самолюбивую бездарность и одурачить ее самыми бесстыдными похвалами, вообще всячески «развертеть» ее, – да что же может быть слаше этого?»

Потом в жизни его вдруг выступил резкий перелом: он попал в Петербург, вошел в близость с литературной средой, неожиданно женился на дочери Давыдовой, в дом которой я ввел его, стал хозяином «Мира божьего», потому что Давыдова умерла через несколько дней после того, как он совершенно внезапно сделал предложение ее дочери, жить стал в достатке, с замашками барина, все больше делаясь своим человеком и в высших литературных кругах, главное же, стал много писать и каждой своей новой вещью завоевывал себе все больший успех. В эту пору, он написал свои лучшие вещи: «Конокрад», «Болото», «Трус», «Река жизни», «Гамбринус»... Когда появился его «Поединок», слава его стала особенно велика...

Восемнадцать лет тому назад, когда мы жили с ним и его второй женой уже в Париже, – самыми близкими соседями, в одном и том же доме, – и он пил особенно много, доктор, осмотревший его, однажды твердо сказал нам: «Если он пить не бросит, жить ему осталось не больше шести месяцев». Но он и не подумал бросить пить и держался после того еще лет пятнадцать, «молодцом во всех отношениях», как говорили некоторые. Но всему есть предел, настал конец и редким силам моего друга: года три тому назад, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза. Как-то я получил от него открытку в двести строчки, – такие крупные, дрожащие каракули и с такими нелепыми пропусками букв, точно их выводил ребенок... Все это и было причиной того, что за последние два года я не видел его ни разу, ни разу не навестил его: да простит мне бог – не в силах был видеть его в таком состоянии.

Прошлым летом, проснувшись утром под Парижем в поезде, на возвратном пути из Италии, и развернув газету, поданную мне вагонным проводником, я был поражен совершенно неожиданным для меня известием: «Александр Иванович Куприн возвратился в СССР...» Никаких политических чувств по отношению к его «возвращению» я, конечно, не испытал. Он не уехал в Россию, – его туда увезли, уже совсем больного, впавшего в младенчество. Я испытал только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше.

Перечитывая Куприна, думая, между прочим, о времени его славы, вспоминаю его отношение к ней. Другие – Горький, Андреев, Шаляпин – жили в непрерывном упоении своими славами, в непрерывном чувствовании их не только на людях, на всяких публичных собраниях, но и в гостях, друг у друга, в отдельных кабинетах ресторанов, – сидели, говорили, курили с ужасной неестественностью, каждую минуту подчеркивали избранность своей компании и свою фальшивую дружбу этими к каждому слову прибавляемыми «ты, Алексей, ты, Леонид, ты, Федор...». А Куприн, даже в те годы, когда мало уступал в российской славе Горькому, Андрееву, нес ее так, как будто ничего нового не случилось в его жизни. Казалось, что он не придает ей ни малейшего значения, дружит, не расстается только с прежними и новыми друзьями и собутыльниками вроде пьяницы и босяка Маныча. Слава и деньги дали ему, казалось, одно – уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет, жечь с двух концов свою свечу, посылать к черту все и вся.

– Я не честолюбив, я самолюбив, – как-то сказал я ему по какому-то поводу.

– А я? – быстро спросил он. И на минуту задумался, сощурился, по своему обыкновению, глаза и пристально вглядываясь во что-то вдали. Потом зачастил своей армейской скороговоркой: – Да, я тоже. Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости. А на честолюбие не имею даже права. Я

писателем стал случайно, долго кормился чем попало, потом стал кормиться рассказышками, – вот и вся моя писательская история.

Он это часто повторял – «я стал писателем случайно». Это, конечно, неправда, опровергается его же собственными автобиографическими признаниями в «Юнкерах». Но вот что правда – это то, что, выйдя из полка и кормясь потом действительно чем попало, он кормился, между прочим, при какой-то киевской газетке не только журнальной работой, но и «рассказишками». Он мне говорил, что эти «рассказишки» он сбывал «за сущие гроши, но очень легко», а писал «на бегу, на лету, посвистывая» и ловко попадая, по своей талантливости, во вкус редактору и читателям. И с той же ловкостью он продолжал писать – уже не для киевской газетки, а для толстых журналов.

Я сказал: «по своей талантливости». Нужно сказать сильней – большой талантливости. Всем известно, в какой среде он рос, где и как провел свою молодость и с какими людьми общался всю свою последующую жизнь. А что он читал? И где и когда? В своем автобиографическом письме к критику Измайлову он говорит:

– Когда я вышел из полка, самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний, ни научных, ни житейских. С ненасытимой и до сей поры жадностью я накинулся на жизнь и на книги...

Но надолго ли накинулся он на книги (если только правда, что «накинулся»)? Во всяком случае, слова «и до сей поры» – весьма сомнительны. Все его развитие, все образование совершалось тоже «на лету», давалось ему и усваивалось им по его способностям легко, следствием чего и вышло то, что в смысле – как бы это сказать? – интеллигентности, что ли, – уровень его произведений был вполне обычный. Нужно помнить еще и то, что он всю жизнь пил, так что даже удивительно, как он мог при этом писать, да еще нередко так ярко, крепко, здраво, вообще в полную противоположность с тем, как он жил, каким был в жизни, а не в писательстве.

Как он жил, каким он был в жизни, известно. И вот что замечательно: та разница, которая была между тем, как он жил и как писал. Критики без конца говорили о необыкновенной «стихийности», «непосредственности» его произведений, о той «первичности переживаний, которыми они пленяют». Читашь о нем и сейчас то же самое: «Помешали Куприну стать великим писателем только стихийность его дарований и истинно русская небрежливость, слишком большое доверие к «нутру», в ущерб законченности и отделанности во всех смыслах... то, что он «не кончил консерватории», как говорили символисты о бытовиках... в своем творчестве Куприн, по самой природе своей, не-книжный человек, не вдохновлялся литературными сюжетами... Ни в нем, ни в его героях не было двойственности...» *Все это требует больших оговорок.* Точно ли не было двойственности в нем? Жил он действительно «стихийно», «непосредственно», «по нутру» – тут ему и впрямь всякое море было по колено, тут он так не ценил ни своего тела, ни ума, ни сердца, ни своей репутации, что был и еще долго будет притчей во языцех. А каким был как писатель? Нет, «консерваторию» он проходил (это уже другое дело, какую именно). И в силу его талантливости, той быстроты, с которой он набивал руку в писательстве, *далеко не все шло ему на пользу тут.*

Это еще мелочи, – то, что немало было в его рассказах даже и средней поры его писательства таких пошлых выражений, как «шикарная женщина», «шикарный ресторан», «железный закон борьбы за существование», «его нежная, почти женственная натура содрогалась от грубых прикосновений действительности с ее бурными, но суровыми нуждами», «стройная, грациозная фигура Нины, личико которой обрамляли пряди пепельных волос, неотступно носилась перед его умственным взором...» Это еще полбеда, – беда в том, что в талантливость Куприна входил большой дар заражаться и пользоваться не только мелкими шаблонами, но и крупными, не только внешними, но и внутренними. И выходило так: требуется что-нибудь подходящее для киевской газетки? пожалуйста, – в пять минут сделаю и, если нужно, не побрезгаю писать вроде того, что «заходящее

солнце косыми лучами освещало вершины дерев...»; надо писать рассказ для «Русского богатства»? И за этим дело не постоит, – вот вам «Молох»:

«Заводской гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой, хриплый звук, казалось, выходит из-под земли и расстилается по ее поверхности...»

Разве плохо для вступления в смысле литературности? Все честь честью – вплоть до пошлого ритма этих двух предложений, который едва ли уступит ритму фразы о заходящем солнце с его косыми лучами. Все *как надо* и дальше, есть все, что требуется *по образцам данного времени*, и все, что полагается для рассказа о «Молохе»: «Нежная, почти женственная натура» болезненно-нервного интеллигента, инженера Боброва, который доходит на своей «страдальческой» службе капитализму до морфинизма, «акула» капитализма Квапшин, выдающий замуж за своего служащего, подлого карьериста, эту «стройную, грациозную» Ни ну, дочь другого заводского служащего и возлюбленную Боброва, с целью сделать ее своей любовницей, бунт доведенных до отчаяния голодом и холодом рабочих, пожар завода...

Я всегда помнил те многие большие достоинства, с которыми написаны его «Конокрады», «Болото», «На покое», «Лесная глушь», «Река жизни», «Трус», «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус», чудесные рассказы о балаклавских рыбаках и даже «Поединок» или начало «Ямы», но всегда многое задевало меня даже и в этих рассказах. Вот, например, в «Реке жизни», предсмертное письмо застрелившегося в номерах «Сербия» студента: «Не я один погиб от моральной заразы... Все прошлое поколение выросло в духе набожной тишины, насильственного почтения к старшим, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчания и нищенства, это благоденственное и мирное житие под безмолвной сенью благочестивой реакции!» Это ли не «литература»? Потом я долго не перечитывал его и, когда теперь решил перечесть, тотчас огорчился: я сперва стал только перелистывать его книги и увидал на них множество моих давнишних карандашных отметок. Вот кое-что из того, что я отмечал:

– Это была страшная и захватывающая картина (картина завода). Человеческий труд кипел здесь, как огромный и прочный механизм. Тысяча людей собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинувшись железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса... («Молох».)

– Весь противоположный угол избы занимала большая печь, и с нее глядели, свесившись вниз, две детские головки с выгоревшими на солнце волосами... В углу, перед образом, стоял пустой стол, и на металлическом пруте спускалась с потолка висячая убогая лампа с черным от копоти стеклом. Студент присел около стола, и тотчас ему стало скучно и тяжело, как будто он пробыл здесь много, много часов в томительном и вынужденном бездействии...

– Окончив чай, он (мужик) перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшийся крошечный кусочек сахара бережливо положил обратно в коробочку...

– В оконное стекло билась и настойчиво жужжала муха, точно повторяя все одну и ту же докучную, бесконечную жалобу...

– К чему эта жизнь? – говорил он (студент) со страстными слезами на глазах. – Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозябание? Какой смысл в болезнях и смертях милых, ни в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный кошмар... («Болото».)

– Станный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчание... Он пронесся по лесу низко, над самой землей, и стих... («Лесная глушь».)

– Он открывал глаза, и фантастические звуки превращались в простой скрип полозьев, в звон колокольчиков на дышле; и по-прежнему расстилались и налево и направо спящие белые поля, по-прежнему торчала перед ним черная, согнутая спина очередного ямщика, по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные в узел хвосты...

– Позвольте представиться: местный пристав и, так сказать, громовержец, Ирисов, Павел Афиногенович... («Жидовка».)

Право, трудно было не отмечать все эти тысячу раз петые и перепетые, обязательно «свешивающиеся с печки» детские головки, этот вечный огрызок сахара, муху, которая «точно повторяла докучную жалобу», чеховского студента из «Болота», тургеневский «странный звук, внезапно пронесшийся по лесу», толстовскую дремоту в санях («по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы...»), этого громовержца пристава, фамилия которого уж непременно Ирисов или Гиацинтов, а отчество Афиногенович или Ардалионович – и опять это самое что ни на есть чеховское в «Мелюзге»: разговоры затерянных где-то в северных снегах учителя и фельдшера:

– Иногда учителю начинало казаться, что он, с тех пор, как помнит себя, никуда не выезжал из Курши... что он только в забытой сказке или во сне слышал про другую жизнь, где есть цветы, сердечные, вежливые люди, умные книги, женские нежные голоса и улыбки...

– Я всегда, Сергей Фирсыч, думал, что это хорошо – приносить свою хоть самую малюсенькую пользу, – говорил учитель фельдшеру. – Я гляжу, например, на какое-нибудь прекраснейшее здание, на дворец или собор, и думаю: пусть имя архитектора останется бессмертным на веки вечные, я радуюсь его славе, и я совсем ему не завидую. Но ведь и незаметный камешек, который тоже с любовью клал свой кирпич и обмазывал его известкой, разве он также не может чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю, что мы с тобой – крошечные люди, мелюзга, но если человечество станет когда-нибудь свободным в прекрасным...

В рассказе «Нарцисс» я отметил описание светского салона, какую-то баронессу и ее приятельницу Бетси, – да, это уж неизбежно: Бетси! – и грозный вечер, – «в густом, раскаленном воздухе чувствовалась надвигающаяся гроза», – и тот первый поцелуй влюбленных, который уже тысячу раз соединяли писатели с «надвигающейся грозой»... В «Яме» отметил то место, где «огоньки зажглись в зеленых длинных египетских глазах артистки», пение которой так потрясло девиц публичного дома, что

даже сам автор воскликнул совершенно серьезно: «Такова власть гения!»

Потом я стал читать дальше, взял первую попавшуюся под руку книгу, прочел первый рассказ и огорчился еще больше. Книга эта начинается рассказом «На разъезде». Содержание его таково: едут по железной дороге в одном и том же купе случайно встретившиеся в пути какой-то молодой человек, молодая женщина, у которой была «тоненькая, изящная фигурка и развевающиеся пепельные волосы», и ее муж, гнусный старик-чиновник, изображенный крайне ядовито: «Господин Яворский не умел и не мог ни о чем говорить, кроме своей персоны, собственных ревматизмов и геморроев, и на жену смотрел, как на благоприобретенную собственность...» Этот старик день и ночь наставляет, пилит свою несчастную «собственность», ревнует ее к молодому человеку, говорит и ему грубости и тем самым еще более раздувает загоревшуюся между молодыми людьми любовь, в которой они в конце концов и признаются друг другу на остановке на каком-то разъезде, где их поезд оказывается рядом с другим, встречным поездом, а признавшись, перебегают в этот поезд, решив бросить старика и соединиться навеки. Тут молодой человек страстно воскликнул: «Навсегда? На всю жизнь?» И молодая женщина «вместо ответа спрятала свое лицо у него на груди»...

Потом я перечитал то, что больше всего забыл: «Одиночество», «Святую любовь», «Ночлег» и военные рассказы: «Ночная смена», «Поход», «Дознание», «Свадьба»... Первые три рассказа опять оказались слабы: и по неубедительности фабул, и по исполнению, — написаны под Мопассана и Чехова и опять уж так ладно, так гладко, так умело... «У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой... То и дело легкие тучки набегали на светлый и круглый месяц и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием... Вера Львовна впервые в своей жизни натолкнулась на ужасное сознание, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткого, вдумчивого человека, — на сознание

той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими людьми...» И в этом рассказе, как и в предыдущих, что ни слово, то пошлость. Но в военных рассказах дело пошло уже иначе, я все чаще стал внутренне восклицать: отлично! Тут опять все немножко не в меру ладно, гладко, опытно, но все это переходит в подлинное мастерство, все другой пробы, особенно «Свадьба», рассказ, не заставляющий, не в пример прочим названным, думать: «Ох, сколько тут Толстого и Чехова!» – рассказ очень жестокий, отдающий злым шаржем, но и блестящий. А когда я дошел до того, что принадлежит к поре высшего развития купринского таланта, к тому, что я выделил выше, – «Конокрады», «Болото» и так далее, – я, читая, уже не мог думать о недостатках этих рассказов, хотя в числе их есть и крупные: то дешевая идейность, желание не отстать от духа своего времени в смысле обличительности и гражданского благородства, то заранее обдуманное намерение поразить драматической фэбулой и почти свирепым реализмом... Я уже не думал о недостатках, я только восхищался разнообразными достоинствами рассказов, тем, что преобладает в них: свободой, силой, яркостью повествований, его метким и без излишества щедрым языком...

Вот еще статья о нем – строки человека, долго и близко его знавшего, известного критика Нильского:

– Куприн был откровенен, прям, быстр на ответы, в нем была радостная и открытая пылкость и бесхитрость, теплая доброта ко всему окружающему... Временами его серо-синие глаза освещались чудесным светом, в них сияли и трепетали крылья таланта... Он до самых последних лет мечтал о совершенной независимости, о героической смелости, его восхищали времена «железных времен, орлов и великанов»...

В этом дурном роде будут еще немало писать, будут опять и опять говорить, сколько было в Куприне «первобытного, звериного», сколько любви к природе, к лошадям, собакам, кошкам, птицам... В последнем есть, конечно, много правды, и я вовсе не хотел сказать, говоря о разнице между Куприным-писателем и Куприным-человеком, – таким, каким его характеризуют почти

все, – будто никак не проявлялся человек в писателе: конечно, все-таки проявлялся, и чем дальше, тем все больше. «Теплая доброта Куприна ко всему живущему» или, как говорит другой критик, «купринское благословение всему миру», это тоже было. Однако надо помнить, что было только в последней поре жизни и творчества Куприна.

1938

Семеновы и Бунины

«Государство не может быть иначе, яко к пользе и славе, ежели будут такие в нем люди, которые знают течение сил небесных и времени, мореплавание, географию всего света...» (Регламент императорской Российской Академии наук 1747 года).

К «таким» людям принадлежал и принадлежит Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, прославивший род Семеновых.

Я многое семейное узнал о нем от В. П. Семенова-Тянь-Шанского, его сына, живущего эмигрантом в Финляндии и порой родственно переписывающегося со мной (Семеновы родственники Бунины). От него же стало мне известно о печальной участи обширных мемуаров, оставленных его отцом. Их вышел всего первый том (во всем зарубежье существующий только в одном экземпляре). В. П. прислал мне этот том на прочтение и рассказал историю второго, печатание которого совпало с революцией и к октябрьскому перевороту доведено было всего до одиннадцатого листа, на чем и остановилось. <...> Так, повторы, книга и застряла на одиннадцатом листе, и что с ней стало, не знает, кажется, и сам В. П. (вскоре после того покинувший Россию). Он мне писал о ней только то, что сказано выше, и прибавлял: «В этом втором томе описывается экспедиция отца в Среднюю Азию. В нем много ценного научного материала, но есть страницы, интересные и для широкой публики, – например, рассказ о том, как отец встретился в Сибири с Достоевским, которого он знал в ранней молодости, – как есть таковые же и в третьем и в четвертом томах, ярко рисующие настроения разных слоев русского общества в конце пятидесятых годов, затем эпоху великих реформ Александра II и его сподвижников...»

О Достоевском: говорится и в первом томе, который некоторое время был у меня в руках. Этим страницам предшествует рассказ о кружке Петрашевского и о самом Петрашевском.

– Мы собирались у Петрашевского регулярно, по пятницам, – рассказывает П. П. – Мы охотно посещали его больше всего потому, что он имел собственный дом и возможность

устраивать для нас приятные вечера – сам он всем нам казался слишком эксцентричным, если не сказать, сумасбродным. Он занимал должность переводчика в министерстве иностранных дел. Единственная его обязанность состояла в том, что его посылали в этом качестве на процессы иностранцев или на описи вымороченных имуществ, особенно библиотек. Тут он выбирал для себя все запрещенные иностранные книги, подменяя их разрешенными, и составлял из них свою собственную библиотеку, которую и предлагал к услугам всех своих знакомых. Будучи крайним либералом, атеистом, республиканцем и социалистом, он являл собой замечательный тип прирожденного агитатора. Всюду, где было можно, он проповедовал смесь своих идей с необыкновенной страстностью, хотя и без всякой связности и толковости. Для целей своей пропаганды он, например, стремился стать учителем в военно-учебных заведениях, заявляя, что может преподавать целых одиннадцать предметов; когда же был допущен к испытанию по одному из них, начал свою пробную лекцию так: «На этот предмет можно смотреть с двадцати точек зрения...» – и действительно изложил их все, хотя в учителя так и не был принят. В костюме своем он отличался тоже крайней оригинальностью: носил все то, что так строго преследовалось тогда, то есть длинные волосы, усы, бороду, ходил в какой-то испанской альмавиве и в цилиндре с четырьмя углами... Один раз он пришел в Казанский собор в женском платье, стал между дамами и притворился чинно молящимся; тут его несколько разбойничья физиономия и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на себя изумленное внимание соседей; к нему подошел наконец квартальный надзиратель со словами: «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина»; но он дерзко ответил: «Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина», – и так смутил квартального, что мог, воспользовавшись этим, благополучно исчезнуть из собора...

– Вообще наш кружок, – говорит мемуарист далее, – не принимал Петрашевского всерьез; но вечера его все же процветали, и на них появлялись все новые и новые лица. На этих ве-

чертах шли оживленные разговоры, в которых писатели облегчали свою душу, жалуясь на жестокие цензурные притеснения, бывали литературные чтения, делались рефераты по самым разнообразным научным и литературным предметам, разумеется, с тем освещением, которое недоступно было тогда печатному слову, лились пылкие речи об освобождении крестьян, которое казалось нам столь несбыточным идеалом, Н. Я. Данилевский выступал с целым рядом докладов о социализме, о фюреризме, которым он в ту пору особенно увлекался, Достоевский читал отрывки из своих повестей «Бедные люди» и «Неточка Незванова» и страстно обличал злоупотребления помещиков крепостным правом...

Переходя к Достоевскому, автор говорит, что первое знакомство его с ним произошло как раз в то время, когда Достоевский вошел в славу своим романом «Бедные люди», рассорился с Белинским и Тургеневым, совершенно оставил их литературный кружок и стал посещать кружки Петрашевского и Дурасова.

– Вообще я знал его довольно долго и близко, – говорит он. – И вот что, между прочим, мне хочется сказать. Никак не могу, например, согласиться с утверждением многих, будто Достоевский был очень начитанный, но необразованный человек. Я утверждаю, что он был не только начитан, но и образован. В детские годы он получил прекрасную подготовку в отцовском доме, вполне овладел французским и немецким языками, так что свободно читал на них; в Инженерном училище систематически и усердно изучал, кроме общеобразовательных предметов, высшую математику, физику, механику; а широким дополнением к его специальному образованию послужила ему его большая начитанность. Во всяком случае, можно смело сказать, что он был гораздо образованней многих тогдашних русских литераторов. Лучше многих из них знал он и русский народ, деревню, где жил в годы своего детства и отрочества, и вообще был ближе к крестьянам, к их быту, чем многие из зажиточных писателей-дворян, что, кстати сказать, не мешало ему очень чувствовать себя дворянином, каковым он и был на самом деле, а кое в чем проявлять даже излишние барские замашки.

Немало говорили и писали о той нужде, в которой Достоевский будто бы находился в молодости. Но нужда эта была весьма относительна. По-моему, не с действительной нуждой боролся он тогда, а с несоответствием своих средств и своих желаний. Помню, например, нашу с ним лагерную жизнь и те денежные требования, которые он предъявлял своему отцу на лагерные расходы. Я жил почти рядом с ним, в такой же полотняной палатке, как и он, обходился без своего чаю, без своих собственных сапог, без сундука для книг, получал на лагерь всего-навсего десять рублей – и был спокоен, хотя учился в богатом, аристократическом заведении; а для Достоевского все это составляло несчастье, он никак не хотел отставать от тех наших товарищей, у которых был и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук, траты которых на лагерь колебались от сотен до тысяч рублей...

В этом первом томе мемуаров Семенова много говорится о нашем, бунинском, роде, к которому Семеновы принадлежат по женской линии, и, в частности, об Анне Петровне Буниной. Совсем недавно была и ее годовщина – столетие со времени ее смерти. Годовщина эта тоже никому не вспомнилась, а меж тем заслуживала бы и она того. Если принять во внимание время, в которое жила Бунина, нельзя не согласиться с теми, которые называли ее одной из замечательных русских женщин. Помимо мемуаров Семенова, сведения о ней можно найти в одной давней статье, принадлежавшей Александру Павловичу Чехову. Теперь, говорит он, имя Буниной встречается только в истории литературы, да и то потому, может быть, что портрет ее еще донныне висит в стенах Академии наук.

Но в свою пору оно было очень известно, стихи Буниной читались образованной публикой с большой охотой, расходились быстро и вызвали восторженные отзывы критики. Их хвалил сам Державин, публично читал Крылов, ими восторгался Дмитриев, бывший ближайшим другом Буниной. Греч говорил, что Бунина «занимает отличное место в числе современных писателей и первое между писательницами России», а Карамзин прибавлял: «Ни одна женщина не писала у нас так сильно, как Бунина». Императрица Елизавета Алексеевна

пожаловала ей золотую лиру, осыпанную брильянтами, «для ношения в торжественных случаях», Александр Благословенный назначил ей крупную пожизненную пенсию, Российская Академия наук издала собрание ее сочинений. Слава ее кончилась с ее смертью, и все-таки даже сам Белинский лестно вспоминал ее в своих литературных обзорах.

Отец Анны Петровны был владельцем известного села Урусова, в Рязанской губернии. Там и родилась она – в 1774 году. П. П. Семенов говорит, что отец дал трем ее братьям чрезвычайно хорошее по тому времени воспитание. Старший принадлежал к образованнейшим людям своего века, прекрасно знал многие иностранные языки, состоял в масонской ложе; младшие служили во флоте, причем один из них, во время войны Екатерины II со шведами, попал в плен и был определен шведским королем в Упсальский университет, где и окончил свое образование. На долю А. П. выпала впоследствии большая честь – она стала членом Российской Академии наук. А меж тем первоначальное ее образование было более чем скудно, ибо образование девиц считалось тогда ненужной роскошью. Образование она достигла в силу своей собственной воли и желания, после того как ее старший брат стал возить ее в Москву и ввел в круг своих друзей из литературного и вообще просвещенного общества. Тут она встретила и сблизилась, между прочим, с Мерзляковым, Капнистом, князем А. А. Шаховским, Воейковым, В. А. Жуковским, В. Л. Пушкиным. В последующее время на ее развитие имели большое влияние Н. П. Новиков и Карамзин, «которому больше всего и обязана она была в своем правильном и изящном литературном языке». Она зачитывалась «Московским журналом», выходившим под его издательством, потом встречалась с ним в обществе, носившем название «Беседы любителей русского слова». Общество это организовалось в Петербурге в 1811 году. В нем было двадцать четыре действительных и тридцать два почетных члена, в число которых была избрана и Анна Петровна. Основателем «Беседы» был Шишков, и состояли в ней Крылов, Державин, Шаховской, Капнист, Озеров и даже сам Сперанский. Цель ее была – «противодействие

тем нововведениям, которые вносил в русский язык Карамзин, проведение в жизни подражания образцам славянского языка, преследование карамзинского направления», – и весьма курьезно было то, что и сам Карамзин был ее членом.

Дальнейшую судьбу А. П. очень изменила смерть ее отца. После этой смерти она переехала жить к своей сестре, Марье Петровне Семеновой, получив наследство, дававшее ей шестьсот руб. годового дохода. Она была теперь свободна и самостоятельна. И, пользуясь этим, прожила очень недолго у Семеновой. В 1802 году зять ее, Семенов, отправился в Петербург. А. П. упростила его взять ее с собою и, попав в столицу, отказалась возвращаться назад в деревню. Зять ее был «весьма фразирован» этим, уговаривал ее отказаться от своего намерения – она все же от него не отказалась. В Петербург она приехала будто бы только для того, чтобы повидаться с своим братом – моряком. Когда же решила поселиться в столице, стал и брат уговаривать ее вернуться в деревню, но тоже напрасно. Затем Семенов уехал в деревню, брат вскоре отправился в поход, и она оказалась в столице совсем одна. Это было по тем временам совсем необычно. Но ее ничуть не смутило. Более того: она наняла себе на Васильевском острове совсем отдельную квартиру, «взяв к себе для услуг некую степенную женщину».

Добившись своего, она деятельно и с изумительной энергией принялась за самообразование, несмотря на то, что в это время ей шел уже двадцать восьмой год. Она стала учиться французскому, немецкому и английскому языкам, физике, математике и главным образом российской словесности. Успехи были очень быстрые. Возвратившийся из похода брат был поражен количеством и основательностью приобретенных ею познаний. Но эти же приобретения, обогатив ее ум, вместе с тем и разорили ее материально: живя в Петербурге, она истратила весь свой наследственный капитал. Положение ее становилось ужасно, она принуждена была войти в долги. Но тут брат поспешил познакомить ее с петербургскими литераторами, которым она и показала свои первые произведения. Ее одобрили, ей

помогли печататься. Первое стихотворение ее, «С приморского берега», появилось в печати в 1806 году; за этим последовал целый ряд нового и дал ей такой успех в публике, что она собрала свои стихи и рискнула выпустить отдельным изданием, которое и вышло в свет под заглавием «Неопытная Муза». Издание это было поднесено императрице Елизавете Алексеевне и было награждено сперва вышеупомянутой «лирой, осыпанной бриллиантами», а затем ежегодной пенсией в четыреста рублей в год. С этого времени начинается уже слава Бунинной. В 1811 году она выпустила новый том своих стихотворений, «Сельские вечера», который тоже разошелся очень быстро. Затем она напечатала свою «Неопытную Музу» вторым изданием, в двух томах. Это издание тоже имело большой успех. А двенадцатый год принес ей «высшие лавры»: тут она выступила с патриотическими гимнами, «снискав себе вящее монаршее благоволение и ряд новых милостей». Но это были уже последние ее радости: вскоре после того у нее открылся рак в груди, который всю остальную жизнь ее превратил в непрерывную цепь страданий и наконец свел ее в могилу. Было сделано все, чтобы спасти ее или хотя облегчить ее участь. И двор и общество, почитавшее ее не только, за ее поэтические заслуги, но и за высокие умственные и нравственные качества, проявили к ней большое участие. Государь пожелал, чтобы к ней были приглашены; светила медицины, лично заботился о том, чтобы лечение ее было обставлено как можно лучше; для нее, за счет двора, нанимались на лето дачи, бесплатно отпускались лекарства «из главной аптеки»; бесплатно же посещали ее и придворные медики. Затем решено было прибегнуть к последнему средству, в которое тогда весьма верили: к поездке в Англию, особенно славившуюся в то время своими врачами. Путевые издержки ее принял на себя опять сам государь, «проводил ее Петербург с большим триумфом». Но и Англия не помогла. А. П. пробыла за границей два года и возвратилась оттуда такою же больной, как уехала. Прожила она после того еще двенадцать лет, но почти уже не писала, — только выпустила в 1821 году полное собрание своих сочинений в трех книгах, снова награжденное от двора, на этот раз

пожизненной пенсией в две тысячи рублей. Жила она эти последние годы то у родных, в деревне, то в Липецке, то на Кавказских водах, всюду ища облегчения от своих страданий. «Рак в груди довел свое разрушительное дело уже до того, что она не могла лежать и проводила большую часть времени в единственно возможной для нее позе – на коленях». Так, на коленях, и писала она:

Любить меня иль нет, жалеть иль не жалеть
Теперь, о ближние! вы можете по воле...

Последние дни свои она провела за переводом проповедей Блэра и за непрерывным чтением книг Священного писания. Скончалась 4 декабря 1829 года, в селе Денисовке, Рязанской губернии, у своего племянника Д. М. Бунина. Тело ее погребено в ее родном селе Урусове. На могиле ее, может быть, и до сих пор стоит скромный памятник, в свое время возобновленный П. П. Семеновым-Тянь-Шанским. В его мемуарах приводится милая надпись, сделанная ему А. П. на переводе проповедей Блэра, на книжечке в красном сафьяновом переплете:

«Дорогому Петеньке Семенову в чаянии его достославной возмужалости».

1932

Эртель

Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен. Удивительна была его жизнь, удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников – Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова? А ведь, в общем, он был не меньше их, за исключением, конечно, Чехова, – в некоторых отношениях даже больше.

Двадцать лет тому назад, в Москве, в чудесный морозный день, я сидел в его кабинете, в залитой солнцем квартире на Воздвиженке, и, как всегда при встречах с ним, думал:

«Какая умница, какой талант в каждом слове, в каждой усмешке! Какая смесь мужественности и мягкости, твердости и деликатности, породистого англичанина и воронежского прасола! Как все мило в нем и вокруг него: и его сухоощавая, высокая фигура в прекрасном английском костюме, на котором нет ни единой пушинки, и белоснежное белье, и крупные с рыжеватыми волосами руки, и висячие русые усы, и голубые меланхолические глаза, и янтарный мундштук, в котором душисто дымится дорогая папироса, и весь этот кабинет, сверкающий солнцем, чистотой, комфортом! Как поверить, что этот самый человек в юности двух слов не умел связать в самом невзыскательном уездном обществе, плохо знал, как обращаться с салфеткой, писал с нелепейшими орфографическими ошибками?»

В этой же самой квартире он вскоре и умер – от разрыва сердца.

Через год после того вышли в свет семь томов собрания его сочинений (рассказов, повестей и романов) и один том писем. К роману «Гарденины» было приложено предисловие Толстого. К письмам – его автобиография и статья Гершензона: «Мировоззрение Эртеля».

Толстой писал о «Гардениных», что, «начав читать эту книгу, не мог оторваться, пока не прочел ее всю и не перечел некоторых мест по несколько раз». Он писал:

«Главное достоинство, кроме серьезного отношения к делу, кроме такого знания народного быта, какого я не знаю ни у одного писателя, – неподражаемое, не встречаемое нигде

достоинство этого романа есть удивительный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык. Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей. Мало того, что народный язык его верен, силен, красив, он бесконечно разнообразен. Старик-дворовый говорит одним языком, мастеровой другим, молодой парень третьим, бабы четвертым, девки опять иным. У какого-то писателя высчитали количество употребляемых им слов. Я думаю, что у Эртеля количество это, особенно народных слов, было бы самое большое из всех русских писателей, да еще каких верных, хороших, сильных, нигде, кроме как в народе, не употребляемых слов. И нигде эти слова не подчеркнуты, не преувеличена их исключительность, не чувствуется того, что так часто бывает, что автор хочет щегольнуть, удивить подслушанным им словечком...»

Это знание народа станет вполне понятно, когда просмотришь автобиографию Эртеля.

– Я родился, – говорит он, – 7 июля 1855 года. Дед мой был из берлинской бюргерской семьи, юношей попал в армию Наполеона и под Смоленском был взят в плен, а затем увезен одним из русских офицеров в воронежскую деревню. Там он вскоре перешел в православие, женился на крепостной девушке, приписался в воронежские мещане и всю последующую жизнь прожил управляющим в господских имениях. Эту же должность наследовал и отец мой, тоже женившийся на крепостной. Человек он был весьма мало образованный, но любил читать, – преимущественно исторические книги, – и не чужд был так называемым вопросам политики и даже своего рода философии; к прекрасным чертам его характера нужно отнести большую доброту при наружной суровости, довольно чуткое чувство справедливости и чрезвычайную трезвость ума, почти совершенно совпадавшую со взглядами великорусского крестьянина. Что до моей матери, незаконной дочери одного задонского помещика, то, в противоположность отцу, она была не прочь и от чувствительности, и даже мечтательного романтизма...

– Выучила читать меня она, писать же я выучился сам, сначала копируя с книг печатные буквы. Затем мой крестный, тот помещик Савельев, у которого отец долго был управляющим, предложил отцу взять меня к себе в дом. Жена Савельева была француженка, актриса из какого-то бульварного театра в Париже, почти совсем не говорила по-русски, очень скучала и привязалась ко мне, как к игрушке, рядила меня, кормила лакомствами... Впрочем, все это длилось недолго. Отец поссорился с Савельевым, потерял место – и я был обращен в «первобытное состояние». Тогда мы почти год бедствовали на квартире у одного знакомого мужика, пока отец не снял в аренду хутор...

– Я пользовался совершенной свободой делать, что мне угодно: играть с деревенскими ребятами, читать когда и что захочу... Когда отец взялся «приучать меня к хозяйству», мне было тринадцать лет. Я в то время знал четыре правила арифметики, «Историю Наполеона». «Кошечу Бессмертного», «Путешествие Пифагора», «Стеньку Разина» Костомарова, второй том «Музея иностранной литературы», «Песни Кольцова», «Сочинения Пушкина», старинный конский лечебник, Священную историю с картинками, комедию Чадаева «Дон Педро Прокодурнате». Затем я самоучкой выучился читать по-церковному и несколько раз перечитал «Киевский Патерик» и несколько книг Четьи-Минеи... Лет шестнадцати я познакомился с усманским кушцом Богомоловым, и он снабдил меня сочинениями Дарвина «О происхождении человека» и книжками «Русского слова», в которых я с огромным увлечением прочитал статьи Писарева...

– Отец сделал меня своим помощником по хозяйству, но я настолько держался запанибрата с простым народом, что иногда отец грозился меня бить за это и действительно раза три бил... Я был свой человек в застойной, в конюшнях, в деревне «на улице», на посиделках, на свадьбах, везде, где собирался молодой деревенский народ... Отец решил, наконец, что мои дружественные и фамильярные отношения с деревней положительно мешают мне обладать авторитетом, нужным для приказчика, и согласился на то, чтобы я искал себе должность

где-нибудь в другом месте; и вскоре после того я занял должность конторщика в одном соседнем имении... Железную дорогу я увидел в первый раз, когда мне стало шестнадцать лет; Москву и Петербург – двадцати трех...

Дальнейшее довольно типично для того времени, для самоучки, «рвущегося к свету, к прогрессу»: новое знакомство с новым чудачком-купцом, который «посреди грязи и пошлости торгового люда» был одержим истинной страстью к этому «прогрессу» и к чтению; знакомство с его дочерью, которая взялась руководить развитием молодого «дикаря» и с которой вскоре завязался «книжный роман», кончившийся свадьбой; затем попытка завести свое хозяйство в арендованном на грошовое приданое жены имении и крушение этой попытки, – «я, считавшийся дельным хозяином в чужом богатом имении, оказался никуда не годным в своем маленьком», – и наконец переезд в Петербург (благодаря случайному знакомству с писателем Засодимским, как-то заехавшим в Усмань) и начало типичной писательской жизни в среде наиболее «передовых» представителей тогдашней литературы, жизни в такой бедности, что у молодого писателя вскоре обнаружились задатки чахотки, и с таким увлечением «передовыми» идеями, что пришлось даже посидеть в Петропавловской крепости, а потом пожить в ссылке в Твери. Однако типичность эта тут и кончается. Совсем не типичной оказалась быстрота развития этого «дикаря», быстрота превращения его в настоящего культурного человека, его необычайный духовный и художественный рост и, главное, самостоятельность вкусов, взглядов и стремлений, уже и тогда далеко не во всем совпадавших с тем, что полагалось иметь всем этим Засодимским, Златовратским. «Даже и в пору увлечения Засодимским, – говорит Эртель, – меня не покидала отцовская струйка: здравый смысл. Я, например, чувствовал, что знаю жизнь лучше и глубже его и особенно жизнь народную, бытописателем которой он считал себя. Умел я и людей узнавать лучше его – этому помогали мои занятия хозяйством, деловые отношения с купцами, крестьянами, кулаками, кабатчиками, барышниками, словом, все то, что шло у меня рядом с любовью к

народу, с сетованиями о его нужде, печалях, с увлечением туманными идеалами образованности, прогресса, свободы, равенства и братства...»

Этот-то «здравый смысл» (если уж употреблять столь чрезмерно скромное выражение) и сделал Эртеля такой крупной и своеобразной фигурой, как в жизни, так и в литературе. Гершензон совершенно справедливо говорит, что «нельзя вообразить себе более резкого контраста, нежели тот, который представляет фигура Эртеля среди худосочной и вялой русской интеллигенции восьмидесятых годов». Да и жизнь его, повторяю, была лишь очень короткое время более или менее типичной жизнью интеллигента из разночинцев. Вскоре она опять стала (даже и внешне) чрезвычайно непохожа на таковую: после Твери Эртель только временами жила в столицах или за границей, — он опять вернулся в деревню, к сельскому хозяйству и почти до самого своего конца отдавал ему половину всех своих сил, сперва арендуя лично для себя клочок земли на родине, а затем управляя огромнейшими и богатейшими барскими имениями (одно время даже сразу несколькими, разбросанными в целых девяти губерниях, то есть «целым царством», как писал он мне однажды).

Гершензон считает, что Эртель даже и как мыслитель был явлением «замечательным», что мировоззрение его «представляет собой чрезвычайно оригинальную и ценную систему идей». Сила мышления Эртеля, говорит он, была в той области, которую Кант отводит «практическому разуму». Эртель был прежде всего человеком дела. Ему дана была от природы огромная жизнеспособность, он был ярким представителем делателей жизни, обладал страстной жадой быть в непрерывной смене явлений и действий. И вот этим-то и определялся характер его мировоззрения.

Все это мировоззрение есть ответ на двойственный вопрос: что позволяет сделать жизнь и чего она требует? Вопрос об изначальной силе, движущей мир, и о конечной цели этого движения Эртель оставлял без рассмотрения.

Он, однако, не был рационалистом. Напротив, как раз живое чутье действительности научило его тому, что в основе всего видимого есть элемент невидимый, но не менее реальный, и что не учитывать его в практических расчетах значит рисковать ошибочностью всех расчетов. Оттого позитивизм казался ему нестерпимой бессмысленностью.

Он думал, что жизнь резко распадается на явления двух родов: на зависящие исключительно от воли «Великого Неизвестного, которого мы называем богом», то есть на такие, к которым мы должны относиться с безусловной покорностью, и на зависящие от нашей воли и устранимые, по отношению к которым борьба уместна и необходима.

Он верил, что существует абсолютная истина, но стоял лишь за условное осуществление ее, любил говорить: «В меру, друг, в меру!» – то есть: не ускоряй насильственно этот поступательный ход истории. Безусловное понимание добра и зла и условное действие в осуществлении первого и в борьбе с последним – вот что нужно для всякой деятельности, в том числе для всякой протестующей, говорил он. Значит ли это, однако, что он проповедовал «умеренность и аккуратность»? Редко кто был менее умерен и аккуратен, чем он, вся жизнь которого была страстной неумеренностью, «вечным горением в делах душевных, общественных и житейских, страдальческими поисками внешней и внутренней гармонии». Он сам нередко жаловался: «Все не удастся восстановить в своей жизни равновесия... То, что видишь вокруг и что читаешь, до такой степени надрыгает сердце жалостью к одним и гневом к другим, что просто беда...» И дальше (говоря о своем участии в помощи голодающим, которой он в начале девяностых годов отдавался целых два года с такой страстью, что совершенно забросил свои собственные дела и оказался в настоящей нищете): «Еще раз узнал, что могу, до самозабвения, до полнейшего упадка сил, увлечься так называемой общественной деятельностью...»

Он сурово осуждал русскую интеллигенцию, и прежде всего с практической точки зрения. Он говорил, что ее вечный протест, обусловленный только «нервическим раздражением» или

«лирическим отношением к вещам», бессилен, не ведет к цели, ибо пафос сам по себе не есть какая-либо сущность, а только форма проявления, сущностью же всякой борьбы является личное религиозно-философское убеждение протестующего и затем – понимание исторической действительности. Первое, что нужно русскому интеллигенту, говорил он, это проникнуться учением Христа, «который костью стал в горле господ Михайловских», без чего невозможна религиозная культура личности, а второе – глубокая и серьезная культура и исторический такт. Он говорил: «Всякие «Забытые слова» оттого ведь и забываются столь быстро и часто, что мы их воспринимаем лишь нервами... Несчастье нашего поколения заключается в том, что у него совершенно отсутствовал интерес к религии, к философии, к искусству и до сих пор отсутствует свободно развитое чувство, свободная мысль... Людям, кроме политических форм и учреждений, нужен «дух», вера, истина, бог... Ты скажешь: а все же умели умирать за идею! Ах, легче умереть, нежели осуществить! Односторонне протестующее общество даже в случае победы может принести более зла, нежели добра... О, горек, тысячу раз горек деспотизм, но он отнюдь не менее горек, если проистекает от «Феденьки», а не от Победоносцевых. Воображаю, что натворили бы «Феденьки» на месте Победоносцевых! Что до нашего отношения к народу, то и тут не нужно никакой нормы, кроме той нравственной нормы, которою вообще должны определяться отношения между людьми, то есть закона любви, установленного Христом...»

«Мне думается, – писал он в своей записной книжке, возражая Толстому, последователем которого он был во многом, – я думаю, что раздать имение нищим – не вся правда. Нужно, чтобы во мне и в детях моих сохранилось то, что есть добро: знание, образованность, целый ряд истинно хороших привычек, а это все большей частью требует не одной головной передачи, а наследственной. Отдавши имение, отдам ли я действительно все, чем я обязан людям? Нет, благодаря чужому труду, я, кроме имения, обладаю еще многим другим и этим многим должен делиться с ближним, а не зарывать его в землю...»

Вообще безусловное понимание истины и условное осуществление ее – один из заветных тезисов Эртеля. Всем существом он чувствовал, что прямолинейная принципиальность холодна, мертвенна, что теплота жизни только в компромиссе, что полное самоотречение такая же нелепость, как и всякое безусловное осуществление истины. «Любить одинаково своего ребенка и чужого – противоестественно. Достаточно, если твое личное чувство не погашает в тебе справедливости, которая не позволяет зарезать чужого ребенка ради удобства своего. Норма в той середине, где росток личной жизни цветет и зреет в полной силе, не заглушая вместе с тем любви ко всему живущему...»

Умер этот удивительный по своей кипучей внутренней и внешней деятельности, по свободе и ясности ума и широте сердца человек слишком рано – всего 52 лет от роду. И перед смертью уже глубоко верил, что «смысл всех земных страданий открывается там». В отрочестве он пережил пору страстного религиозного чувства. Затем эти чувства сменились «сомнениями, попытками утвердить, на месте все растущего неверия, веру в добро, в революционные и народнические учения, в учение Толстого... Но неизменно все перемешалось в моей натуре». Он во многом и навсегда остался «другом всяческих свобод» и вообще интеллигентом своего времени. И все-таки жизнь являлась ему «все в новом и новом освещении». Добро? Но оказалось, что слово это «звучало слишком пусто» и что нужно было «хорошенько подумать над ним». Народничество? Но оказалось, что «народнические грезы суть грезы, и больше ничего... Вот организовать (вне всякой политики) какой-нибудь огромный союз образованных людей с целью помощи всяческим крестьянским нуждам – это другое дело... Русскому народу и его интеллигенции, прежде всяких попыток осуществления «царства божия», предстоит еще создать почву для такого царства, словом и делом водворять сознательный и твердо поставленный культурный быт... Социализм? Но не думаешь ли ты, что он может быть только у того народа, где проселочные дороги обсажены вишнями и вишни бывают целы? <...>

Революция? Но к революции в смысле насилия я чувствую органическое отвращение... <...> Ведь еще Герцен сказал, что иные вещи несравненно более жалко терять, нежели иных людей... Толстой? Но всех загнать в Фиваиду – значит оскотить и обесцветить жизнь... Нельзя всем предписать земледельческий труд, жестокое непротивление злу, самоотречение до уничтожения личности... Сводить всю свою жизнь до роли «самаритянской» я не хочу... Не было бы тени – не было бы борьбы, а что же прекраснее борьбы! Народ? Я долго писал о нем, обливаясь слезами...» Но идут годы – и что же говорит этот народолюбец? «Нет, никогда еще я так не понимал некрасовского выражения «любя ненавидеть», как теперь, купаясь в аду подлинной, а не абстрагированной народной действительности, в престелях русского неправдоподобно жестокого быта... <...> Безверие? Но человек без религии существо жалкое и несчастное... Золотые купола и благовест – форма великой сущности, живущей в каждой человеческой душе...» И вот – последние признания, незадолго до смерти:

«Страшные тайны бога недоступны моему рассудочному пониманию...»

«Верую, что смысл жизненных страданий и смерти откроется там...»

«Горячо верую, что жизнь наша не кончается здесь и что в той жизни будет разрешение всех мучительных загадок и тайн человеческого существования...»

1929

Волошин

Максимилиан Волошин был одним из наиболее видных поэтов предреволюционных и революционных лет России и сочетал в своих стихах многие весьма типичные черты большинства этих поэтов: их эстетизм, снобизм, символизм, их увлечение европейской поэзией конца прошлого изначала нынешнего века, их политическую «смену вех» (в зависимости от того, что было выгоднее в ту или иную пору); был у него и другой грех: слишком литературное воспевание самых страшных, самых зверских злодеяний русской революции.

После его смерти появилось немало статей о нем, но сказали они, в общем, мало нового, мало дали живых черт его писательского и человеческого облика, некоторые же просто ограничились хвалами ему да тем, что пишется теперь чуть не поголовно обо всех, которые в стихах и прозе касались русской революции: возвели и его в пророки, в провидцы «рядущего русского катаклизма», хотя для многих из таких пророков достаточно было в этом случае только некоторого знания начальных учебников русской истории. Наиболее интересные замечания о нем я прочел в статье А. Н. Бенуа, в «Последних новостях»:

«Его стихи не внушали того к себе доверия, без которого не может быть подлинного восторга. Я «не совсем верил» ему, когда по выступлениям красивых и звучных слов он взбирался на самые вершины человеческой мысли... Но влекло его к этим восхождениям совершенно естественно, и именно слова его влекли... Некоторую иронию я сохранил в отношении к нему навсегда, что ведь не возбраняется и при самой близкой и нежной дружбе... Близорукий взор, прикрытый пенсне, странно нарушал все его «зевсоподобие», сообщая ему что-то растерянное и беспомощное... что-то необычайно милое, подкупающее...»
<...>

Я лично знал Волошина со времен довольно давних, но до наших последних встреч в Одессе, зимой и весной девятнадцатого года, не близко.

Помню его первые стихи, – судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрепнет его стихотворный талант,

так разовьется внешне и внутренне. Тогда были они особенно характерны для его «влечения к словам»:

Мысли с рыданиями ветра сплетаются,
Поезд гремит, перегнать их старается,
Так вот в ушах и долбит и стучит это:
Титата, тотата, татата, титата...

Из страны, где солнца свет
Льется с неба, жгуч и ярок,
Я привез себе в подарок
Пару звонких кастаньет...

Склоняясь ниц, оваян ночи синью,
Доверчиво ищущи губами я
Сосцы твои, натертые полынью,
О мать-земля!

Помню наши первые встречи, в Москве. Он уже был тогда заметным сотрудником «Весов», «Золотого руна». Уже и тогда очень тщательно «сделана» была его наружность, манера держаться, разговаривать, читать. Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, темно-рус, кудряв и бородат: из всего этого он, невзирая на пенсне, ловко сделал нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторогобаранье. Пожив в Париже, среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую черную шляпу, бархатную куртку и накидку, усвоил себе в обращении с людьми старинную французскую оживленность, общительность, любезность, какую-то смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и «очаровательное», хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре. Как почти все его современники-стихотворцы, стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, всюду где угодно и в любом количестве, при малейшем желании окружающих. Начиная читать, тотчас

поднимал свои толстые плечи, свою и без того высоко поднятую грудную клетку, на которой обозначались под блузой почти женские груди, делал лицо олимпийца, громовержца и начинал мощно и томно завывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту грозную и важную маску: тотчас же опять очаровательная и вкрадчивая улыбка, мягко, салонно переливающийся голос, какая-то радостная готовность ковром лечь под ноги собеседнику – и осторожное, но неутомимое сладострастие аппетита, если дело было в гостях, за чаем или ужином... Помню встречу с ним в конце 1905 года, тоже в Москве. Тогда чуть не все видные московские и петербургские поэты вдруг оказались страстными революционерами, – при большом, кстати сказать, содействии Горького и его газеты «Борьба», в которой участвовал сам Ленин. Это было во время первого большевистского восстания, Горький крепко сидел в своей квартире на Воздвиженке, никогда не выходя из нее ни на шаг, день и ночь держал вокруг себя стражу из вооруженных с ног до головы студентов-грузин, всех уверяя, будто на него готовится покушение со стороны крайних правых, но вместе с тем день и ночь принимал у себя огромное количество гостей, – приятелей, поклонников, «товарищей» и сотрудников этой «Борьбы», которую он издавал на средства некоего Скирмунта и которая сразу же пленила поэта Брюсова, еще летом того года требовавшего водружения креста на св. Софии и произносившего монархические речи, затем Минского с его гимном: «Пролетарии всех стран, соединитесь!» – и немало прочих. Волошин в «Борьбе» не печатался, но именно где-то тут, – не то у Горького, не то у Скирмунта, – услышал я от него тоже совсем новые для него песни:

Народу русскому: я скорбный Ангел Мшенья!
Я в раны черные, в распахнутую новь
Кидаю семена. Прошли века терпенья,
И голос мой – набат! Хорутвь моя, как кровь!

Помню еще встречу с его матерью, – это было у одного писателя, я сидел за чаем как раз рядом с Волошиным, как вдруг в комнату быстро вошла женщина лет пятидесяти, с семью

стрижеными волосами, в русской рубахе, в бархатных шароварах и сапожках с лакированными голенищами, и я чуть не спросил именно у Волошина, кто эта смехотворная личность? Помню всякие слухи о нем: что он, съезжаясь за границей с своей невестой, назначает ей первые свидания непременно где-нибудь на колокольне готического собора; что, живя у себя в Крыму, он ходит в одной «тунике», проще говоря, в одной длинной рубахе без рукавов, <что> очень, конечно, смешно при его толстой фигуре и коротких волосатых ногах... К этой поре относится та автобиографическая заметка его, автограф которой был воспроизведен в «Книге о русских поэтах» и которая случайно сохранилась у меня до сих пор, – строки местами тоже довольно смешные:

«Не знаю, что интересно в моей жизни для других. Поэтому перечислю лишь то, что было важно для меня самого.

Я родился в Киеве 16 мая 1877 года, в *день Святого Духа*.

События жизни исчерпываются для меня странами, книгами и людьми.

Страны: первое впечатление – Таганрог и Севастополь сознательное бытие – окраины Москвы, Ваганьково кладбище, машины и мастерские железной дороги; отрочество – леса под Звенигородом; пятнадцати лет – Коктебель в Крыму, – самое ценное и важное на всю, жизнь; двадцати трех – Среднеазиатская пустыня – пробуждение самопознания; затем Греция и все побережья и острова Средиземного моря – в них обретенная родина духа; последняя ступень – Париж – сознание ритма и формы.

Книги-спутники: Пушкин и Лермонтов с пяти лет; с семи Достоевский и Эдгар По; с тринадцати Гюго и Диккенс; с шестнадцати Шиллер, Гейне, Байрон; с двадцати четырех французские поэты и Анатоль Франс; книги последних лет: Багават-Гита, Малларме, Поль Клодель, Анри де Ренье, Вилье де Лилль Адан, – Индия и Франция.

Люди: лишь за последние годы они стали занимать в жизни больше места, чем страны и книги. Имена их не назову...

Стихи я начал писать тринадцати лет, рисовать двадцати четырёх...»

В ту пору всюду читал он и другое свое прославленное стихотворение из времен французской революции, где тоже немало ударно-эстрадных слов:

Это гибкое, страстное тело
Растоптала ногами толпа мне...

Потом было слышно, что он участвует в построении где-то в Швейцарии какого-то антропософского храма...

Зимой девятнадцатого года он приехал в Одессу из Крыма, по приглашению своих друзей Цетлиных, у которых и остановился. По приезде тотчас же проявил свою обычную деятельность, — выступал с чтением своих стихов в Литературно-художественном кружке, затем в одном частном клубе, где почти все проживавшие тогда в Одессе столичные писатели читали за некоторую плату свои произведения среди пивших и евших в зале перед ними «недорезанных буржуев»... Читал он тут много новых стихов о всяких страшных делах и людях как древней России, так и современной, большевистской. Я даже дивился на него — так далеко шагнул он вперед и в писании стихов, и в чтении их, так силен и ловок стал и в том и в другом, но слушал его даже с некоторым негодованием; какое, что называется, «великолепное», самоупоенное и, по обстоятельствам места и времени, кощунственное словоизвержение! — и, как всегда, все спрашивал себя: на кого же в конце концов похож он? Вид как будто грозный, пенсне строго блестит, в теле все как-то поднято, надуту, концы густых волос, разделенных на прямой пробор, завиваются кольцами, борода чудесно круглится, маленький ротик открывается в ней так изысканно, а гремит и завывает так гулко и мощно... Кряжистый мужик русских крепостных времен? Приап? Кашалот? — Потом мы встретились на вечере у Цетлиных, и опять это был «милейший и добрейший Максимилиан Александрович». Присмотревшись к нему, увидал, что наружность его с годами уже несколько огрубела, отяжелела, но

движения по-прежнему легки, живы; когда перебегает через комнату, то перебегает каким-то быстрым и мелким аллюром, говорит с величайшей охотой и много, весь так и сияет общительностью, благорасположением ко всему и ко всем, удовольствием от всех и от всего – не только от того, что окружает его в этой светлой, теплой и людной столовой, но даже как бы ото всего того огромного и страшного, что совершается в мире вообще и в темной, жуткой Одессе в частности, уже близкой к приходу большевиков. Одет при этом очень бедно – так уж истерта его коричневая бархатная блуза, так блестят черные штаны и разбиты башмаки... Нужду он терпел в ту пору очень большую. Дальше беру (в сжатом виде) кое-что из моих тогдашних заметок:

– Французы бегут из Одессы, к ней подходят большевики. Цетлины садятся на пароход в Константинополь. Волошин остается в Одессе, в их квартире. Очень возбужден, как-то особенно бодр, легок. Вечером встретил его на улице: «Чтобы не быть выгнанным, устраиваю в квартире Цетлиных общежитие поэтов и поэтесс. Надо действовать, не надо предаваться унынию!»

– Волошин часто сидит у нас по вечерам. По-прежнему мил, оживлен, весел. «Бог с ней, с политикой, давайте читать друг другу стихи!» Читает, между прочим, свои «Портреты». В портрете Савинкова отличная черта – сравнение его профиля с профилем лося.

Как всегда, говорит без умолку, затрагивая множество самых разных тем, только делая вид, что интересуется собеседником. Конечно, восхищается Блоком, Белым и тут же Анри де Ренье, которого переводит.

Он антропософ, уверяет, будто «люди суть ангелы десятого круга», которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что всегда надо помнить, что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел...

– Спасаем от реквизиции особняк нашего друга, тот, в котором живем, – Одесса уже занята большевиками. Волошин принимает в этом самое горячее участие. Выдумал, что у нас будет

«Художественная неореалистическая школа». Бегает за разрешением на открытие этой школы, в пять минут написал для нее замысловатую вывеску. Сыплет сентенциями: «В архитектуре признаю только готику и греческий стиль. Только в них нет ничего, что украшает».

– Одесские художники, тоже всячески стараясь спастись, организуются в профессиональный союз вместе с малярами. Мысль о малярах подал, конечно, Волошин. Говорит с восторгом: «Надо возвратиться к средневековым цехам!»

– Заседание (в Художественном кружке) журналистов, писателей, поэтов и поэтесс, тоже «по организации профессионального союза». Очень людно, много публики и всяких пишущих, «старых» и молодых. Волошин бегаёт, сияет, хочет говорить о том, что нужно и пишущим объединиться в цех. Потом, в своей накидке и с висящей за плечом шляпой, – ее шнур прицеплен к крючку накидки, – быстро и грациозно, мелкими шажками выходит на эстраду: «Товарищи!» Но тут тотчас же поднимается дикий крик и свист: буйно начинает скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: «Долой! К черту старых, обветшалых писак! Клянемся умереть за Советскую власть!» Особенно бесчинствуют Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся орава «в знак протеста» покидает зал. Волошин бежит за ними – «они нас не понимают, надо объясниться!» <...>

– Помогают Волошину пробраться в Крым еще и через «морского комиссара и командующего черноморским флотом» Немица, который, по словам Волошина, тоже порт, «особенно хорошо пишет рондо и триолеть». Выдумывают какую-то тайную большевистскую миссию в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Немица состоит, кажется, из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь...

Если считать по новому стилю, он уехал из Одессы (на этом самом дубке) в начале мая. Уехал со спутницей, которую называл Татидой. Вместе с нею провел у нас последний вечер, ночевал тоже у нас. Провожать его было все-таки грустно. Да и все было грустно: сидели мы в полутьме, при самодельном ночни-

ке, — электричества не позволяли зажигать, — угощали отъезжающих чем-то очень жалким. Одет он был уже по дорожному — матроска, берет. В карманах держал немало разных спасительных бумажек, на все случаи: на случай большевистского обыска при выходе из одесского порта, на случай встречи в море с французами или добровольцами, — до большевиков у него были в Одессе знакомства и во французских командных кругах, и в добровольческих. Все же все мы, в том числе и он сам, были в этот вечер далеко не спокойны: бог знает, как-то сойдет это плавание на дубке до Крыма... Беседовали долго и на этот раз почти во всем согласно, мирно. В первом часу разошлись наконец: на рассвете наши путешественники должны были быть уже на дубке. Прощаясь, взволновались, обнялись. Но тут Волошин почему-то неожиданно вспомнил, как он однажды зимой сидел с Алексеем Толстым в кофейне Робина, как им вдруг пришло в голову начать медленно, но все больше и больше — и притом, с самыми серьезными, почти зверскими лицами, — надуваться, затем так же медленно выпускать дыхание и как вокруг них начала собираться удивленная, не понимающая, в чем дело, публика. Потом очень хорошо стал изображать медвежонка...

С пути он прислал нам открытку, писанную 16 мая в Евпатории:

«Пока мы благополучно добрались до Евпатории и второй день ждем поезда. Мы пробыли день на Кинбурнской Косе, день в Очакове, ожидая ветра, были дважды останавливаемы французским миноносцем, болтались ночь без ветра, во время мертвой зыби, были обстреляны пулеметным огнем под Ак-Мечетью, скакали на перекладных целую ночь по степям и гниющим озерам, а теперь застряли в грязнейшей гостинице, ожидая поезда. Все идет не скоро, но благополучно. Масса любопытнейших человеческих документов... Очень приятно вспоминать последний вечер, у вас проведенный, который так хорошо закончил весь нехороший одесский период».

В ноябре того же года пришло еще одно письмо от него, из Коктебеля. Привожу его начало:

«Большое спасибо за ваше письмо: как раз эти дни все почему-то возвращался мысленно к вам, и оно пришло как бы ответом на мои мысли.

Мои приключения только и начались с выездом из Одессы. Мои большевистские знакомства и встречи развивались по дороге от матросов-разведчиков до «командарма», который меня привез в Симферополь в собственном вагоне, оказавшись моим старым знакомым.

Потом я сидел у себя в мастерской под артиллерийским огнем: первый десант добровольцев был произведен в Коктебеле, и делал его «Кагул», со всею командой которого я был дружен по Севастополю: так что их первый визит был на мою террасу.

Через три дня после освобождения Крыма я помчался в Екатеринбург спасать моего друга генерала Маркса, несправедливо обвиненного в большевизме, которому грозил расстрел, и один, без всяких знакомств и связей, добился-таки его освобождения. Этого мне не могут простить теперь феодосийцы, и я сейчас здесь живу с репутацией большевика, и на мои стихи смотрят как на большевистские.

Кстати: первое издание «Демонов глухонемых» распространялось в Харькове большевистским «Центрагом», а теперь ростовский (добровольческий) «Осваг» взял у меня несколько стихотворений из той же книги для распространения на летучках. Только в июле месяце я наконец вернулся домой и сел за мирную работу...

Работаю исключительно над стихами. Все написанные летом я переслал Гроссману для одесских изданий. Поэтому относительно моих стихотворений на общественные темы спросите его, а я посылаю вам пока для «Южного слова» два прошлогодних, лирических, еще нигде не появлявшихся, и две небольшие статьи: «Пути России» и «Самогон крови». Сейчас уже два месяца работаю над большой поэмой о св. Серафиме, весь в этом напряжении и неуверенности, одолею ли эту грандиозную тему. Он должен составить диптих с «Аввакумом».

Зимовать буду в Коктебеле: этого требует и работа личная, и сумасшедшие цены, за которыми никакие гонорары угнаться не

могут. Кстати, о гонораре: теперь я получаю за стихи десять рублей за строку, а статьи по три за строку. Это минимум, поэтому, если «Южное слово» за стихи заплатит больше, я не откажусь.

Мне бы очень хотелось, И. А., чтобы вы прочли все мои новые стихи, что у Гроссмана: я в них сделал попытку подойти более реалистически к современности (в цикле «Личины», стих. «Матрос», «Красногвардеец», «Спекулянт» и т.д.), и мне бы очень хотелось знать ваше мнение.

Я еще до сих пор переполнен впечатлениями этой зимы, весны и лета: мне действительно удалось пересмотреть всю Россию во всех ее партиях, и с верхов и до низов. Монархисты, церковники, эсеры, большевики, добровольцы, разбойники... Со всеми мне удалось провести несколько интимных часов в их собственной обстановке...»

Это письмо было для меня последней вестью о нем. <...>

1930

Из воспоминаний «Третий Толстой»

«Третий Толстой» – так нередко называют в Москве недавно умершего там автора романов «Петр Первый», «Хождения по мукам», многих комедий, повестей и рассказов, известного под именем графа Алексея Николаевича Толстого: называют так потому, что были в русской литературе еще два Толстых – граф Алексей Константинович Толстой, поэт и автор романа из времен царя Ивана Грозного «Князь Серебряный», и граф Лев Николаевич Толстой. Я довольно близко знал этого Третьего Толстого в России и в эмиграции. <...>

В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и *ласково*, Алешей, и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие... Вел он себя в эмиграции нередко и впрямь «Алешкой», хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, и все знали это и все-таки прощали ему: что ж, мол, взять с Алешки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение; одет и обут он был всегда дорого и добротнo, ходил носками внутрь, – признак натуры упорной, настойчивой, – постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, иногда, в каком-нибудь «салоне», сюсюкал, как великосветский фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и давясь, крикая, ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия, но, проснувшись, на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный. <...>

Я познакомился с Толстым как раз в те годы, о которых (скорбя по случаю провала «первой революции») так трагически декламировал Блок: «Мы – дети страшных лет России – забыть не можем ничего!» – в годы между этой первой революцией и первой мировой войной. Я редактировал тогда беллетристику в журнале «Северное сияние», который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская. И вот в редакцию этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне («граф Алексей Толстой») и предложил для напечатания свою рукопись под заглавием «Сорочьи сказки», ряд коротеньких и очень ловко сделанных «в русском стиле», бывшем тогда в моде, пустиков. Я, конечно, их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринужденностью (которой всегда отличались все писания Толстого). Я с тех пор заинтересовался им, прочел его «декадентскую книжку стихов», будто бы уже давно сожженную, потом стал читать все прочие его писания. Тут-то мне и открылось впервые, как разнообразны были они, – как с самого начала своего писательства проявил он великое умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нем ходко, в зависимости от тех или иных меняющихся вкусов и обстоятельств. Революционных стихов его я никогда не читал, ничего не слышал о них и от самого Толстого: может быть, он пробовал писать и в этом роде, в честь «первой революции», да скоро бросил – то ли потому, что уже слишком скучен показался ему этот род, то ли по той простой причине, что эта революция довольно скоро провалилась, хотя и успели русские мужички-«богоносцы» сжечь и разграбить множество дворянских поместий. Что до «декадентской» его книжки, то я ее читал и, насколько помню, ничего декадентского в ней не нашел; сочиняя ее, он тоже следовал тому, чем тоже увлекались тогда: стилизацией всего старинного и сказочного русского. За этой книжкой последовали его рассказы из дворянского быта, тоже написанные во вкусе тех дней: шарж, нарочитая карикатурность, нарочитые (да и не нарочитые) нелепости. Кажется, в те годы написал он и несколько комедий,

приспособленных к провинциальным вкусам и потому очень выигранных. Он, повторяю, приспособлялся очень находчиво. <...>

После нашего знакомства в «Северном сиянии» я не встречался с Толстым года два или три: то путешествовал с моей второй женой по разным странам вплоть до тропических, то жил в деревне, а в Москве и в Петербурге бывал мало и редко. Но вот однажды Толстой неожиданно нанес нам визит в той московской гостинице, где мы останавливались, вместе с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц, Соней Дымшиц, как называли ее все, а сам Толстой неизменно так: «Моя жена, графиня Толстая». Дымшиц была одета изящно и просто, а Толстой каким-то странным важным барином из провинции: в цилиндре и в огромной медвежьей шубе. Я встретил их с любезностью, подобающей случаю, раскланялся с графиней и, не удержавшись от улыбки, обратился к графу:

– Очень рад возобновлению нашего знакомства, входите, пожалуйста, снимайте свою великолепную шубу...

И он небрежно пробормотал в ответ:

– Да, наследственная, остатки прежней роскоши, как говорится...

И вот эта-то шуба, может быть, и была причиной довольно скорого нашего приятельства; граф был человек ума насмешливого, юмористического, наделенный чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал, вероятно, мою невольную улыбку и *фразу* сообразил, что я не из тех, кого можно дурачить. К тому же он быстро дружился с подходящими ему людьми и потому после двух, трех следующих встреч со мной уже смеялся, кричал над своей шубой, признавался мне:

– Я эту наследственность за грош купил по случаю, ее мех весь в гнусных лысынах от моли. А ведь какое барское впечатление производит на всех!

Говоря вообще о важности одежды, он морщился, поглядывая на меня:

– Никогда ничего путного не выйдет из вас в смысле житейском, не умеете вы себя подавать людям! Вот как, например, не-

выгодно одеваются вы. Вы худы, хорошего роста, есть в вас что-то старинное, портретное. Вот и следовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук в талию, рубашки голландского полотна с этаким артистически раскинутым воротом, подвязанным большим бантом черного шелка, длинные до плеч волосы на прямой ряд, отрастить чудесные ногти, украсить указательный палец правой руки каким-нибудь загадочным перстнем, курить маленькие гаванские сигаретки, а не пошлые папиросы... Это мошенничество, повашему? Да кто ж теперь не мошенничает так или иначе, между прочим и наружностью! Ведь вы сами об этом постоянно говорите! И правда – один, видите ли, символист, другой – марксист, третий – футурист, четвертый – будто бы бывший босяк... И все наряжены: Маяковский носит женскую желтую кофту, Андреев и Шаляпин – поддевки, русские рубахи навыпуск, сапоги с лаковыми голенищами, Блок бархатную блузу и кудри... Все мошенничают, дорогой мой!

Переселившись в Москву и снявши квартиру на Новинском бульваре, в доме князя Щербатова, он в этой квартире повесил несколько старых, черных портретов каких-то важных стариков и с притворной небрежностью бормотал гостям: «Да, все фамильный хлам», – а мне опять со смехом: «Купил на толкучке у Сухаревой башни!» <...>

Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые прожили в Одессе все-таки более или менее сносно, кое-что продавали разным то и дело возникавшим по югу России книгоиздательствам, – Толстой, кроме того, получал неплохое жалованье в одном игорном клубе, будучи там старшиной, – но в начале апреля большевики взяли наконец и Одессу, обративши в паническое бегство французские и греческие воинские части, присланные защищать ее, и Толстые тоже стремительно бежали морем (в Константинополь и дальше), мы же не успели бежать вместе с ними: бежали в Турцию, потом в Болгарию, в Сербию и, наконец, во Францию чуть не через год после того, прожив почти пять несказанно мучительных месяцев под большевиками,

освобождены были добровольцами Деникина, — его главная армия чуть не дошла в ту, вторую, осень до Москвы, — но в конце января 1920 года опять чуть не попали под власть большевиков и тут уже навеки простились с Россией.

Почему мы не погибли в Черном море на пути в Константинополь, одному богу ведомо. Мы ушли из города в порт пешком, темным, грязным вечером, когда большевики уже входили в город, и едва втиснулись в несметную толпу прочих беженцев, набившихся в маленький, ветхий греческий пароход «Патрас», а нас было четверо: с нами был знаменитый русский ученый Никодим Павлович Кондаков, грузный старик лет семидесяти пяти, и молодая женщина, бывшая секретарем его и почти нянькой. Шли мы затем до Константинополя двое суток в снежную бурю, капитан «Патраса» был пьяница-албанец, не знавший Черного моря, и, если бы случайно не оказался на «Патрасе» русский моряк, заменивший его, потонул бы «Патрас» со всеми своими несчастными пассажирами непременно. А в Константинополь мы пришли в ледяные сумерки с пронзительным ветром и снегом, пристали под Стамбулом и тут должны были идти под душ в каменный сарай — «для дезинфекции». Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французского доктора, но я так закричал, что мы с Кондаковым «Immortels», «Бессмертные» (ибо мы с Кондаковым были членами Российской императорской Академии), что доктор, вместо того, чтобы сказать нам: «Но тем лучше, вы, значит, не умрете от этого душа», — сдался и освободил нас от него. Зато нас вместе с нашим жалким беженским имуществом покидали по чьему-то приказанию на громадный, грохочущий камион и помчали за Стамбул, туда, где начинаются так называемые Поля Мертвых, и оставили ночевать в какой-то совершенно пустой руине тоже огромного турецкого дома, и мы спали там на полу в полной тьме, при разбитых окнах, а утром узнали, что руина эта еще недавно была убежищем прокаженных, охраняемая теперь великаном-негром, и только к вечеру перебрались в Галету, в помещение

уже упраздненного русского консульства, где до отъезда в Софию спали тоже на полу.

Толстой осенью 1919 года, когда в Одессе была власть Деникина, послал мне из Парижа два письма. Он писал очень сердечно:

«Мне было очень тяжело тогда (в апреле) расставаться с Вами. Час был тяжелый. Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы не скоро, уже на пароходе. Что было перетерплено – не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме рядом с тифозными, и по нас ползали вши. Два месяца сидели на собачьем острове в Мраморном море. Место было красивое, но денег не было. Три недели ехали мы (потом) в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомоины, но зато все это искупилось пребыванием здесь (во Франции). Здесь так хорошо, что было бы совсем хорошо, если бы не сознание, что родные наши и друзья в это время там мучаются».

В другом письме он сообщал:

«Милый Иван Алексеевич, князь Георгий Евгеньевич Львов (бывший глава Временного правительства, он сейчас в Париже) говорил со мной о Вас, спрашивал, где Вы и нельзя ли Вам предложить эвакуироваться в Париж. Я сказал, что Вы, по всей вероятности, согласились бы, если бы Вам был гарантирован минимум для жизни вдвоем. Я думаю, милый Иван Алексеевич, что Вам было бы сейчас благоразумно решиться на эту эвакуацию. Минимум Вам будет гарантирован, кроме того, к Вашим услугам журнал «Грядущая Россия» (начавший выходить в Париже), затем одно огромное издание, куда я приглашен редактором, кроме того, издания Ваших книг по-русски, немецки и английски. Самое же главное, что Вы будете в благодатной и мирной стране, где чудесное красное вино и все, все в изобилии. Если Вы приедете или известите заранее о Вашем приезде, то я сниму виллу под Парижем в Сен-Клу или в Севре с тем расчетом, чтобы Вы с Верой Николаевной поселились у нас. Будет очень, очень хорошо...»

В первом письме были еще такие строки:

«Пришлите, Иван Алексеевич, мне Ваши книги и разрешение для перевода рассказов на французский язык. Ваши интересы я буду блюсти и деньги высылать честно, то есть не закливать. В Париже Вас очень хотят переводить, а книг нет... Все это время работаю над романом, листов в 18–20. Написано – одна треть. Кроме того, подрабатываю на стороне и честно и похабно – сценарий... Франция – удивительная, прекрасная страна, с устоями, с доброй стариной, обжилой дом... Большевиков здесь быть не может, что бы ни говорили... Крепко и горячо обнимаю Вас, дорогой Иван Алексеевич...»

Константинополь, Болгария, Сербия, Чехия – всюду в ту пору было полно русскими беженцами. То же было и в Париже. Париж, куда мы приехали в самом конце марта, встретил нас не только радостной красотой своей весны, но и особенным многолюдством русских, многие имена которых были известны не только всей России, но и Европе, – тут были некоторые уцелевшие великие князья, миллионеры из дельцов, знаменитые политические и общественные деятели, депутаты Государственной думы, писатели, художники, журналисты, музыканты, и все были, невзирая ни на что, преисполнены надежд на возрождение России и возбуждены своей новой жизнью и той разнообразной деятельностью, которая развивалась все более и более на всех поприщах. И с кем только не встречались мы чуть не каждый день в первые годы эмиграции на всяких заседаниях, собраниях и в частных домах! Деникин, Керенский, князь Львов, Маклаков, Стахович, Милюков, Струве, Гучков, Набоков, Савинков, Бурцев, композитор Прокофьев, из художников – Яковлев, Малявин, Судейкин, Бакст, Шушаев; из писателей – Мережковские, Куприн, Алданов, Тэффи, Бальмонт. Толстой был прав в письмах ко мне в Одессу – в бездействии и в нужде тут нельзя было тогда погибнуть. Вскоре и мы неплохо устроились материально, а Толстые и того лучше, да и как могло быть иначе? Толстой однажды явился ко мне утром и сказал: «Едем по буржуям собирать деньги; нам, писакам, надо затеять свое собственное книгоиздательство, русских журналов и газет в Париже достаточно, печататься нам есть где, но это мало, мы

должны еще и издаваться!» И мы взяли такси, навестили нескольких «буржуев», каждому из них излагая цель нашего визита в нескольких словах, каждым были приняты о отменным радушием, и в три-четыре часа собрали сто шестьдесят тысяч франков, а что это было тридцать лет тому назад! И книгоиздательство мы вскоре основали, и оно было тоже немалым материальным подспорьем не только нам с Толстыми. Но у Толстых была постоянная беда: денег им никогда не хватало. Не раз говорил он мне в Париже:

– Господи, до чего хорошо живем мы во всех отношениях, за весь свой век не жил я так, только вот деньги черт их знает куда страшно быстро исчезают в суматохе...

– В какой суматохе?

– Ну я уж не знаю в какой; главное то, что пустые карманы я совершенно ненавижу, поехать куда-нибудь в город, смотреть на витрины без возможности кушать что-нибудь – истинное мучение для меня; покупать я люблю даже всякую совсем ненужную ерунду до страсти! Кроме того, ведь нас пять человек, считая эту эстонку при детях. Вот и надо постоянно ловчиться...

Раз он сказал совсем другое: «А, будь я очень богат, было бы чертовски скучно...» Но пока ловчиться все же было надо, и он ловчился: приехав в Париж, встретил там старого московского друга Крандиевских, состоятельного человека, и при его помощи не только жил первое время, но даже и оделся и обулся с порядочным запасом.

– Я не дурак, – говорил он мне, смеясь, – тотчас накупил себе белья, ботинок, у меня их целых шесть пар и все лучшей марки и на великолепных колодках, заказал три пиджачных костюма, смокинг, два пальто... Шляпы у меня тоже превосходные, на все сезоны...

В надежде на падение большевиков некоторые парижские русские богатые люди и банки покупали в первые годы эмиграции разные имущества эмигрантов, оставшиеся в России, и Толстой продал за восемнадцать тысяч франков свое несуществующее в России имение, и выпучивал глаза, рассказывая мне об этом:

– Понимаете, какая дурацкая история вышла: я все им изложил честь честью, и сколько десятин, и сколько пахотной земли и всяких угодий, как вдруг спрашивают: а где же находится это имение? Я было заметался, как сукин сын, не зная, как соврать, да, к счастью, вспомнил комедию «Каширская старина» и быстро говорю: в Каширском уезде, при деревне Порточки... И, слава богу, продал!

Жили мы с Толстыми в Париже особенно дружно, встречались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташей, то присылал нам записочки в таком, например, роде:

«У нас нынче буйабез от Прыюнье и такое пуи (древнее), какого никто и никогда не пивал, четыре сорта сыру, котлеты от Потэн, и мы с Наташей боимся, что никто не придет. Умоляю – быть в семь с половиной!»

«Может быть, вы и Цетлины зайдете к нам вечером – выпить стакан доброго вина и полюбоваться огнями этого чудного города, который так далеко виден с нашего шестого этажа. Мы с Наташей к вашему приходу оклеим прихожую новыми обоями...»

Но прошел год, прошел другой, денег не хватало все чаще, и Толстой стал бормотать:

– Совершенно не понимаю, как быть дальше! Сорвал со всех, с кого было можно, уже тридцать семь тысяч франков, – в долг, разумеется, как это принято говорить между порядочными людьми, – теперь бледнеют, когда я вхожу в какой-нибудь дом на обед или на вечер, зная, что я тотчас подойду к кому-нибудь, притворно задыхаясь: тысячу франков до пятницы, иначе мне пуля в лоб!

Наташу Толстую я узнал еще в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в инее, – иней опушил всю ее беличью шапочку, беличий воротник шубки, ресницы, уголки губ, – и я просто поражен был ее юной прелестью, ее девичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов, которые она принесла мне на просмотр, которые она продолжала писать и впоследствии, будучи замужем за своим

первым мужем, а потом за Толстым, но все-таки почему-то совсем бросила еще в Париже. Она тоже не любила скудной жизни, говорила:

– Что ж, в эмиграции, конечно, не дадут умереть с голоду, а вот ходить оборванной и в разбитых башмаках дадут...

Думаю, что она немало способствовала Толстому в его конечном решении возвратиться в Россию.

Как бы то ни было, летом 1921 года Толстой еще не думал, кажется, не только о России, но и о Берлине. То лето Толстые проводили под Бордо, в небольшом имении, купленном «Земгором» из остатков его общественных средств, и Толстой писал мне оттуда:

«Милые друзья, Иван и Вера Николаевна, было бы напрасно при Вашей недоверчивости уверять Вас, что я очень давно собирался вам писать, но откладывал исключительно по причине того, что напишу завтра... Как вы живете? Живем мы в этой дыре неплохо, питаемся лучше, чем в Париже, и дешевле больше чем вдвое. Если бы были хоть «тительные» денежки – рай, хотя скучно. Но денег нет совсем, и если ничего не случится хорошего осенью, то и с нами ничего хорошего не случится. Напиши мне, Иван, милый, как наши общие дела? Бог смерти не дает – надо кряхтеть! Пишу довольно много. Окончил роман и переделываю конец. Хорошо было бы, если бы вы оба приехали сюда зимовать, мы бы перезимовали вместе. Дом комфортабельный, и жили бы мы чудесно и дешево, в Париж можно бы наезжать. Подумай, напиши...»

Но к осени ничего хорошего не случилось, не случилось ничего хорошего и с Толстыми. И однажды осенним вечером мы, вернувшись домой, нашли его карточку, на которой были написаны в некотором роде роковые слова:

«Приходил читать роман и проститься».

Следующие письма были уже из Берлина (всюду привожу лишь выдержки):

«16 ноября 1921 г. Милый Иван, приехали мы в Берлин, – боже, здесь все иное. Очень похоже на Россию, во всяком случае очень близко от России. Жизнь здесь приблизительно как в

Харькове при гетмане: марка падает, цены растут, товары прячутся. Но есть, конечно, и существенное отличие: там вся жизнь построена была на песке, на политике, на авантюре, – революция была только заказана сверху. Здесь чувствуется покой в массе народа, воля к работе, немцы работают, как никто. Большевизма здесь не будет, это уже ясно. На улице снег, совсем как в Москве в конце ноября, – все черное. Живем мы в пансионе, недурно, но тебе бы не понравилось. Вина здесь совсем нет, это очень большое лишение, а от здешнего пива гонит в сон и в мочу... Здесь мы пробудем недолго и затем едем – Наташа с детьми в Фрейбург, я – в Мюнхен... Здесь всюду идет издательская деятельность. На марки все это грош, но, живя в Германии, зарабатывать можно неплохо. По всему видно, что у здешних издателей определенные планы торговать книгами с Россией. Вопрос со старым правописанием, очевидно, будет решен в положительном смысле. Скоро, скоро наступят времена полегче наших...»

«Суббота, 21 января 1922 г. Милый Иван, прости, что долго не отвечал тебе, недавно вернулся из Мюнстера и, закружившись, как это ты сам понимаешь, в вихре великосветской жизни, откладывал ответы на письма. Я удивляюсь – почему ты так упорно не хочешь ехать в Германию, на те, например, деньги, которые ты получил с вечера, ты мог бы жить в Берлине вдвоем в лучшем пансионе, в лучшей части города девять месяцев: жил бы барином, ни о чем не заботясь. Мы с семьей, живя сейчас на два дома, проживаем тринадцать-четырнадцать тысяч марок в месяц, то есть меньше тысячи франков. Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето, то есть на самое тяжелое время. В Париже мы бы умерли с голоду. Зарботки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно, – меня поддерживают книги, но ты одной бы построчной платой мог бы существовать безбедно... Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем, покупается все, даже такие книги, которые в довоенное время в России сели бы. И есть у всех надежда, что рынок увеличится продвижением книг в Россию: часть книг уже

проникает туда, – не говоря уже о книгах с соглашательским оттенком, проникает обычная литература... Словом, в Берлине сейчас уже около тридцати издательств, и все они, так или иначе, работают... Обнимаю тебя. Твой. *А. Толстой*».

Очень значительна в этом письме строка: «Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето...» Значит, он тогда еще и не думал о возвращении в Россию. Однако это письмо было уже последним его письмом ко мне.

В последний раз я случайно встретился с ним в ноябре 1936 года, в Париже. Я сидел однажды вечером в большом людном кафе, он тоже оказался в нем, – зачем-то приехал в Париж, где не был со времени отъезда своего сперва в Берлин, потом в Москву, – издалека увидал меня и прислал мне с гарсоном клочок бумажки: «Иван, я здесь, хочешь видеть меня? *А. Толстой*». Я встал и прошел в ту сторону, которую указал мне гарсон. Он тоже уже шел навстречу мне и, как только мы сошлись, тотчас закричал своим столь знакомым мне смешком и забормотал. «Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?» – спросил он <...> и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжал разговор еще на ходу:

– Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России...

Я перебил, шутя:

– Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены.

Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:

– Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля... У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету... Ты что ж, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии?

Я поспешил переменить разговор, посидел с ним недолго, — меня ждали те, с кем я пришел в кафе, — он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мне утром, чтобы условиться о новой встрече; и не позвонил, — «в суматохе!» — и вышла эта встреча нашей последней. Во многом он был уже не тот, что прежде: вся его крупная фигура похудела, волосы поредели, большие роговые очки заменили пенсне, пить ему было уже нельзя, запрещено докторами, выпили мы с ним, сидя за его столиком, только по одному фужеру шампанского...

1949

Содержание

Автобиографические заметки, дневники, записные книжки, воспоминания	3
Автобиографическая заметка	3
Из предисловия к французскому изданию «Господина из Сан-Франциско»	17
Из записей.....	19
Автобиографические заметки.....	50
<Одесский дневник>	61
Записная книжка.....	67
Нобелевские дни	74
<Письмо в редакцию газеты «Последние новости»>	83
<Из записей>.....	86
<Записи>	104
<Заметки>.....	105
<Записи>	113
<Записи>	118
Происхождение моих рассказов.....	122
<Как я пишу>	128
Из книги «Воспоминания».....	130
Рахманинов	130
Репин	132
Джером Джером.....	133
Шаяпин.....	135
Куприн	145
Семеновы и Бунины	159

Эртель	167
Волошин	176
Из воспоминаний «Третий Толстой»	186

Иван Алексеевич Бунин

**Биографические материалы.
Воспоминания**

14+

Ответственный редактор *А. Иванова*

Корректор *М. Глаголева*

Верстальщик *С. Мартынович*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16